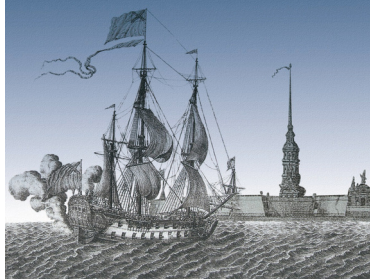


Дмитрий Спивак

МЕТАФИЗИКА ЕТЕРБУРГА

Историко-культурологические очерки



Дмитрий Леонидович Спивак
Метафизика Петербурга. Историко-культурологические очерки

*Текст предоставлен правообладателем.
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=6538868*

Аннотация

Монография посвящена восстановлению доминант такого оригинального и плодотворного феномена отечественной культурной традиции, как «петербургский миф» – прежде всего так, как они видятся через призму взаимодействия города с его ключевыми культурными партнерами, а именно «немецким миром» и «французской цивилизацией». Особое место уделено многообразным культурным контактам, опосредовавшим включение в состав «петербургского мифа» элементов исторически предшествовавших городу на Неве, субстратных для него культур прибалтийско-финских народов, шведов, а также византийской духовной традиции.

Содержание

Введение	4
Глава I. Северная столица	8
Финская почва	8
Город у финской границы	8
«Пригородные финны»	16
Голос болот	20
Голос камней	35
Шведские корни	41
Город у шведской границы	41
Петербургские шведы	44
«Шведская система» в масонстве	45
«Путь на север»	49
Шведский текст в облике Петербурга	63
Византийское наследие	69
Петербург и Стамбул	69
Православная столица	76
Конец ознакомительного фрагмента.	80

Д.Л. Спивак

Метафизика Петербурга. Историко-культурологические очерки

Введение

Петербургу исполнилось триста лет. Под впечатлением юбилейных торжеств естественным будет мысленно обратиться к основаниям города, подтверждая их крепость и утверждая свою внутреннюю связь с ними. Исходным тезисом историософии Петербурга всегда было то, что город основан был практически на пустом месте и неким чудесным образом почти сразу вошел в пору зрелости и расцвета. Так смотрел на дело своих рук Петр Великий, в этом настроении сочинял Вступление к «Медному всаднику» Александр Пушкин, так думали и писали поэты, мыслители и государственные деятели на протяжении всего «петербургского периода».

С точки зрения фактов, это мнение можно оспорить. Пространства приневского края уже в седой древности были заселены народами прибалтийско-финского корня. Им, в лице чуди и веси, на равной ноге со славянскими племенами кривичей и словен, довелось принять непосредственное участие в деле «призвания варягов», составившего отправную точку в становлении русской государственности. Им же, в составе отряда ижорцев, пришедших на поле Невской битвы под предводительством своего старейшины, прозорливого Пелгусия, довелось оказать своевременную помощь войскам князя Александра, утвердив права Новгорода на земли при устье Невы. На их долю выпало принять деятельное участие в основании прочного «ожерелья крепостей», обладание которыми позволило русским удерживать за собой приневские земли на протяжении многих веков, вплоть до заключения Столбовского мира 1617 года: мы говорим в первую очередь о карельской Кореле, ижорском Орешке, водском Копорье. Помня о постоянном участии прибалтийско-финских народов в мирном строительстве, равно как и в постоянно случавшихся в наших краях вооруженных конфликтах, не следует забывать и того, что действие ключевых рун общего для них, священного эпоса «Калевалы», было приурочено к приневским землям.

Шведские короли всегда с чрезвычайным вниманием следили за положением в устье Невы и по крайней мере дважды пытались основать здесь настоящую, регулярную крепость европейского типа. Первой стала Ландскрона, основанная на лесистом мысу, образованном основным течением рек Невы и Охты, в 1300 году, под рукой славного маршала Торгильса Кнутссона, заложившего несколькими годами ранее на северо-западе Карельского перешейка крепость Выборг. Перевод имени Ландскрона – «Венец края» – стал сразу же известен новгородцам, равно как стоявшая за ним политическая программа, что и привело на следующий год ко взятию и разорению новооснованной крепости. Помня о давних событиях, шведы вернулись на то же место через три с небольшим века, в эпоху своего великодержавия-«стурмакта» – затем, чтобы поставить здесь крепость Ниеншанц с расположившимся под защитой ее укреплений городом Ниен. Крепости с городом, получившим у русских краткое имя «Канцы», довелось играть роль одного их военных, хозяйственных и культурных центров шведской Ингерманландии на протяжении всего времени ее существования, быть взятыми «на аккорд» войсками Петра I – и, таким образом, непосредственно предшествовать во времени и пространстве городу Шлотбург, который, в свою очередь, уступил свое место самому Санкт-Петербургу.

Приняв православие из Византии, русские испокон веков стремились к тому, чтобы встать наравне с греками в благочестии и ревности к вере. В их среде рано сложилось предание о хождении первоверховного апостола Андрея – родного брата самого святого Петра – по маршруту позднейшего «пути из варяг в греки», и о благословении, которым он осенил наши земли. В ближайшем к нам крупнейшем центре древнерусских земель, Новгороде Великом, был возведен храм святой Софии – Премудрости Божией, обозначившей вместе с Софиями киевской и, разумеется, цареградской, фокальные точки на древнем военно-торговом пути. В наших краях, в преддверии Невской битвы, сделал свой стратегический выбор святой благоверный князь Александр Невский, пойдя ради веры на разрыв с Западом, получивший глубокое осмысление в тогдашней житийной литературе.

Все это так, примеры легко умножить. Однако же с точки зрения культуры Санкт-Петербург почти сразу стал настолько самостоятельным и крупным явлением, что понять его можно, лишь исходя из внутренней логики его собственного развития. Непрестанно вбирая множество чуждых влияний, город неизменно видоизменял их, подчиняя собственному духу. Вот почему, прослеживая в первой главе этой книги пути, которыми трем историческим предшественникам петербургской культуры довелось вливаться в ее состав, изменяясь иной раз почти до неузнаваемости, мы получаем возможность реконструировать ключевые, архетипические черты «петербургского мифа» как такового.

«Город на Неве» был основан как своего рода огромный портал, при посредстве которого Россия могла бы знакомиться с ценностями и новинками европейской, в основе своей романо-германской цивилизации, а та в свою очередь получала доступ к обширному евразийскому пространству. Соответственно, в следующих двух главах мы переходим к обзору многообразных влияний и контактов, связавших историческое развитие как нашей «северной столицы», так как и «петербургского периода» отечественной истории в целом, с двумя основными культурными партнерами: «немецким миром» и «французской цивилизацией». Прослеживая многообразные случаи инокультурных влияний и контактов, мы будем стараться и здесь не упускать из виду нашу главную цель – восстановление основных принципов организации внутреннего мира влиятельной городской цивилизации, подчинявшейся в своем становлении, развитии и многообразных изменениях уже своей собственной, отнюдь не заемной логике. Краткость списка ведущих партнеров, а также и исторических предшественников, ограниченная только что перечисленными культурами, обуславливает, в свою очередь, полноту реконструкции как метафизических концептов, так и ключевых оппозиций, базовых для «петербургской цивилизации» в целом.

В числе предметных областей – или же «кодов и текстов», как стали в последнее время говорить под влиянием идей «московско-тартуской семиотической школы» – мы выделяем прежде всего геополитический и историософский, при посредстве которых государство и общество, о которых пойдет речь, позиционировали себя на пространстве историко-географического «большого пространства и времени». «Поменяв экспозицию» – а именно, перейдя к средне – и краткосрочным задачам и целям, которыми в первую очередь занимаются дипломатический и административный аппарат любого государства – мы приходим к перипетиям «реальной политики» с ее войнами и революциями, недолговечными договорами и вековыми предубеждениями. Еще более сузив наш кругозор, мы обращаемся далее к тому, какое отражение события эпохи нашли в исторических судьбах и занятиях петербургских немцев и французов – одним словом, к этнокультурной и этнопсихологической проблематике.

Культура послепетровской России была, как мы знаем, последовательно логоцентрична. Соответственно, нам предстоит обращаться далее к истории философского умозрения, а также литературной традиции, одной из важнейших задач которой стало раскрытие «темы Петербурга» во всей ее сложности и полноте. Как следствие, в рамках классической русской литературы сложился своеобразный «петербургский текст», одно вычленение кото-

рого стало событием в новейшем отечественном литературоведении. Переходя к области изящных искусств, мы можем эпизодически обращаться вслед за тем к музыке и театру, но систематически – к облику города, который во все времена оказывал самое непосредственное и глубокое воздействие на психологию своих обитателей, то есть, в первую очередь, к его архитектуре. При необходимости, нам придется дополнять это рассмотрение, обращаясь к закономерностям организации градостроительной структуры, которая составляет смежный, но более высокий уровень «города как системы» – либо опускаться на уровень ниже, переходя к так называемому «монументальному тексту».

Таков общий план, которого мы предполагаем достаточно строго придерживаться на протяжении всего дальнейшего изложения глав второй-третьей, в рамках каждого из разделов, соответствующих одному из веков исторического бытия «города на Неве» (в первой главе этот план реализован менее строго, «пунктирно», в силу особенностей субстратного материала). Что же касается предметных областей, очерченных выше, то они определяют то, что на строгом научном языке следовало бы назвать «семиотикой Петербурга». Едва сформулировав это определение, нам приходится сразу его ограничить. В каждой предметной области мы избираем лишь ту часть, в структуре которой прослеживается непосредственная связь с так называемым «мифом Петербурга». В свою очередь, под этим мифом мы понимаем психологическую доминанту, сводящуюся к тому, что глубокое приобщение к определенным аспектам петербургской культуры позволяет установить контакт с «метафизической областью».

Под метафизикой в традиционной университетской философии понималось учение о Боге (теология), бытии (онтология), а также душе и конечных ценностях человеческого существования – таких, как смысл жизни или свобода воли (пневматология). К началу XX века, традиция метафизической мысли почти угасла. Возвращаясь на новом уровне к некоторым из ее базовых интуиций, мы предлагаем выделять в психике человека и общества «метафизическую область», в задачу которой входит «порождение смыслов» – в особенности, ценностей и архетипов, играющих ключевую роль в жизни людей. Приняв эту инновацию, становится возможным определить предмет нашего интереса как «метафизическую семиотику Петербурга» – или, для краткости, его метафизику.

Придя к этому общему, родовому определению, нужно признать, что оно влечет за собой необходимость выработки ряда более частных, видовых. К примеру, неясное представление о метафизике города коренится в коллективном подсознании его жителей, находя себе выражение в преданиях и слухах. Историки Петербурга лишь недавно обратились к их систематическому рассмотрению и сразу же стали приходить к весьма конструктивным выводам. Значительно более четкое выражение метафизика города находит себе в психологических установках и жизненных стилях тех социальных групп и слоев, которые определяют жизнь города и страны – или, по меньшей мере, играют в ней видную роль. Как водится, члены этих групп в массе своей могут иметь не вполне четкое представление о собственных психологических доминантах, что не мешает им воплощать таковые в спонтанных или намеренных действиях.

Рано или поздно в городе появляются люди, которые черпают вдохновение в его облике и судьбе, осмысливают свои озарения и дают им выражение в формах, присущих культуре своего времени. Накладывая свою собственную, сверхличную логику на течение творческой мысли этих людей, «душа города» наконец обретает свой голос. «Отражение Петербурга в душах наших художников слова не случайно, здесь нет творческого произвола ярко выраженных индивидуальностей. За всеми этими впечатлениями чувствуется определенная последовательность, можно сказать, закономерность», – писал в 1922 году гений петербургского краеведения Н.П.Анциферов, и мысли его сохранили свою актуальность по сей день. Кажется, что участники научного и общественного движения «Дух места», недавно развер-

нувшегося в США, просто продолжили его любимые мысли, заявив: «Есть люди, которые становятся „голосом“ определенного места – нередко сами не зная, почему. Однажды выступив в этой роли, они часто испытывают потом настоятельную потребность выразить свои чувства средствами искусства или же действиями».

Начав со строго научного определения метафизики Петербурга, мы поведем далее наш рассказ в довольно свободной форме – в надежде, что для внимательного читателя, тем более для ученого, ближе знакомого с материалом, не составит большого труда восстановить внутреннюю логику нашего повествования, руководствуясь как его общим духом, так и расставленными по тексту краткими пояснительными замечаниями. При желании получить более подробную историческую справку или отсылку к конкретным научным источникам, достаточно будет обратиться к нашей трехтомной монографии «Метафизика Петербурга», выпущенной в 2003–2005 годах издательством «Алетейя», где соответствующий научный аппарат наличествует в необходимой полноте. Более красочный видеоряд представлен в 16-серийном фильме «Метафизика Петербурга», снятом на Международной телерадиокомпании «МИР» в 2003 году, и с тех пор с неизменным успехом идущем на телеэкранах России и стран СНГ.

Книга посвящена матери автора – блокаднице, прима-балерине Мариинского театра Нонне Ястребовой.

Глава I. Северная столица

Финская почва

Город у финской границы

В годы Северной войны театр военных действий распространялся и на Финляндию. Видя ее стратегическое значение для Петербурга, Петр I не считал оккупацию страны первоочередной задачей. «Хотя она (Финляндия – Д.С.) нам не нужна вовсе, удерживать ради причин главнейших: первое, было бы что при мире уступить», – писал царь в известном послании к своему генерал-адмиралу Ф.М.Апраксину, – «другое, ежели Бог допустит летом до Абова, то шведская шея легче гнуться станет». Письмо было писано и принято к сведению в 1713 году. Как выяснилось вскоре, Бог до Абова допустил, и «шведская шея» действительно стала легче гнуться. Абовом у нас называли главный город Финляндии Або, в шведском произношении Обу (Åbo), теперь более известный под финским именем Турку. Находясь на юго-западе страны, он был ближе других к Стокгольму и в известном смысле слова «представлял» его – так же, как в следующем веке Гельсингфорс стал «финляндским дублером» Петербурга. Согласно Ништадтскому миру 1721 года, занятая территория Финляндии была возвращена шведам. По сути, им они получили грозное предупреждение, но особого действия оно не возымело: страну скорее эксплуатировали, чем развивали. В ходе войны 1741–1743 годов российские войска загнали шведскую армию на территорию нынешнего Хельсинки, некоторых поубивали, а большинство взяли в плен. Императрица Елизавета Петровна издала манифест, где обещала финляндцам вольности. То был хорошо рассчитанный шаг: все больше взглядов стало обращаться к Петербургу. По Абоскому мирному договору 1743 года, к России отошла еще полоса территории севернее Выборга.

После этой войны шведы принялись за строительство крепости Свеаборг на островах, прикрывающих Гельсингфорс со стороны залива. Работы были поставлены на широкую ногу: в непосредственной близости от границы России год за годом рос «северный Гибралтар», как тогда любили называть крепость (окрестные финны превратили Свеаборг в «Виапори»). Тем не менее собственно Гельсингфорс, то есть город, где под защитой крепостных пушек должны были развиваться промышленность и торговля, рос очень медленно. В 1760 году он состоял всего из 4 кварталов деревянной застройки, население которых не превышало двух тысяч человек. Создавалось впечатление, что шведы не усвоили урока утраченного навсегда Ниеншанца. В следующей большой войне 1808–1809 годов они окончательно потеряли Финляндию. Война велась в годы Тильзитского мира, и соответствовала заложенной в нем концепции европейского баланса сил. Светская молва свела дело к анекдоту. Во время одного из обедов в Тильзите разговор зашел о том, что во время последней русско-шведской войны (1788–1790) одно из сражений велось так близко к Петербургу, что канонада была в нем отчетливо слышна, и многие дамы перетрусили. Рассказ взволновал Наполеона. Он озабоченно сказал, что война войною, но пугать петербургских дам – это совсем не дело. В крайнем случае, надобно занять Финляндию и прекратить это. Александр I задумчиво посмотрел на него своими прекрасными глазами – и согласился. Участь Финляндии была решена.

Современная шведская историография рассматривает потерю этой страны как крупнейшую катастрофу своей истории. Согласно авторитетному мнению современных составителей капитальной «Истории шведской внешней политики» С.Карлссона и Т.Хейера,

«утрата Финляндии была самым важным событием за всю историю шведского государства». Точно так же потеря Финляндии, признанная Советом народных комиссаров через столетие после того, в конце 1917 года, в свою очередь ознаменовала крушение другой великой державы – петербургской империи. Заметим, что шведские политики начала XIX века довольно легко перенесли утрату Финляндии. Для них последним словом в политической науке была концепция «естественных границ», восходившая к Монтескье. В соответствии с нею, нужно было не удерживать Финляндию, а обратить все внимание на Норвегию, создав с нею неприступное государство в границах, очерченных Скандинавским полуостровом. Эта точка зрения пользовалась особым вниманием при дворе бывшего наполеоновского маршала Ж.-Б.Бернадота, вступившего на шведский трон под именем Карла Юхана в 1810 году. Сам он относился к идее возвращения Финляндии едва ли не с отвращением. «Я знаю тернии этого положения, – говорил он, – Я избран небольшой партией, и не ради моих прекрасных глаз, а как вождь, с условием, которое обходят молчанием – отвоевать Финляндию. Но начинать из-за этого войну было бы безумием, к которому я не приложу рук». Как известно, король повел дело прочь от Финляндии – а именно, к шведско-норвежской унии. Лишь к середине XIX века, в Швеции была выработана и приобрела влияние концепция «скандинавизма». Она подразумевала федерацию скандинавских стран, включавшую и Финляндию на правах автономии.

Еще один краеугольный для Карлсона и Хейера тезис критики не выдерживает. Как пишут они, в результате катастрофы 1809 года «значительная часть подданных прежнего шведского государства вошла в состав общности, судьбы которой формировались на широких, чей духовный климат был сибирским». Финляндцы «сибирского духа» как раз и не чуяли, в массе своей сердечно приветствуя приход царской армии. Сразу же после присоединения к России, было образовано конституционно-автономное Великое княжество Финляндское. Цари милостиво приняли новых подданных, даровав им широкое самоуправление в виде сейма (позднее – парламента), собственную валюту, армию, университет. Много делалось, чтобы произвести впечатление на Европу, но немало – как прообраз реформ в российских губерниях. В предписании генерал-губернатору только что присоединенного края, Александр I подчеркивал, что финляндский народ следует считать «не поработанным Россией, но привязанным к ней собственными пользами». Пользы были весьма ощутимы, финляндские предприниматели сумели их оценить в полной мере. Уже к середине XIX века они вывели свою страну на темпы развития, оставлявшие далеко позади ведущие промышленные районы глубинной России. За первые сорок лет после присоединения, население Гельсингфорса увеличилось в 5 раз, за следующие сорок – еще втрое. На севере от Петербурга сложилась процветающая провинция, заинтересованная и в его благосостоянии.

Под сенью двуглавого орла благоденствовали и набирали силу обе национальные общины Финляндии. Спокойно выпустил библию финских националистов – «Калевалу» – и читал лекции по финскому языку в Гельсингфорском университете Элиас Лённрот. Коллега Лённрота по университету, Я.Грот, занимавший кафедру русского языка, с улыбкой вспоминал, как на одной вечеринке старый добрый Элиас с его багровым загаром и большими мужицкими ладонями взял в руки кантеле и стал распевать украинские песни на финские мотивы. М.Кастрен прославился своими экспедициями по русскому северу и Сибири, где он собрал уникальные материалы по архаичным языкам и обычаям тамошних финно-угров. Замечательный ученый имел право на жалованье адъюнкта петербургской Академии наук, однако оговорил себе право получать ее в Гельсингфорсе, поскольку там было удобнее жить, обрабатывая собранные коллекции. Свободно развивал свои мысли о придании финскому языку статуса официального публицист и критик И.В.Снеллман, а с ним и прочие националисты. Народ выражал свои чувства на собственный лад: вплоть до 1916 года детям охотно давались имена Николаи и Алексантери, у финнов ассоциировавшиеся исключительно с рус-

скими царями. Община финляндских шведов также чувствовала себя уверенно: отпрыски 250 «лучших семейств» доминировали в управлении краем. Между тем, численность этих кланов не достигала и полутора процентов населения Великого княжества. Среди выходцев из этой среды, сделавших карьеру на царской службе за пределами Финляндии, было немало губернаторов, генералов и адмиралов. Неудивительно, что в среде этих людей бытовала поговорка «Россия принадлежит нам!». Положим, Россия им не принадлежала – но в Петербурге они чувствовали себя как дома.

Политика неуклюжей русификации, принятая царизмом к концу XIX века, произвела в Финляндии довольно неприятное впечатление. Оно было усугублено манифестом Николая II (1899) и законом III Государственной думы, которые ограничили права финляндского сейма. В северном краю стала популярной литография, изображавшая Финляндию в облике девицы, которую преследовал злобный двуглавый орел. Девица ежилась, косилась на вредное животное и заслонялась от его когтей книгой с надписью «LEX» – закон. Молодой Мандельштам видел репродукцию этой картины Эту Исто, обрамленную траурной рамкой, едва ли не в каждом финском доме. Оригинал ее до сих пор украшает площадку второго этажа финского Национального музея в Хельсинки, попадает она изредка и в петербургских букинистических магазинах. Впрочем, как бы ни негодовала юная Финляндия, ей все же было что защищать: закон-lex сохранял свою значимость. Поэтому и народ надеялся, что все образуется, и сохранял спокойствие. Когда в 1899 году националистически настроенные финские студенты пошли в народ, они встретили редкостное безразличие. Крестьяне слушали их, а потом сообщали, что ежели речь идет о недоимках, то таковые давно уплачены, а про все прочее они знать не знают. Погорячившись некоторое время, студенты осознали, что тут ничего не добьешься, садились в бричку и уезжали в полном расстройстве. Поселяне с улыбками смотрели им вслед, качали головами, бормотали что-нибудь вроде «Веселые господа!», и возвращались к хозяйственным заботам. Лучшие представители национальной буржуазии выставляли агитаторов за дверь еще быстрее. Сама мысль получить независимость, потеряв ради этого бездонный российский рынок, должна была представляться им безумной.

Такой курс нашел себе отражение и в символике финляндского государства. Дело в том, что в начале XX века, у финляндцев было два варианта национального флага. Первый, привычный нам белый флаг с голубым крестом («blåvit korsflagga»), восходил по прямой линии к старинному русскому «андреевскому стягу» и символизировал верность Великому князю Финляндии, которым был русский монарх. До революции, этот флаг употреблялся у финнов, лояльных царю, достаточно широко – к примеру, его вывешивали на своих судах члены многочисленных яхт-клубов, рассеянных по всей стране. На втором флаге был изображен герб Финляндии – золотой лев на красном поле. Принадлежавшее древней традиции, это изображение не вызывало противодействия у царских властей. К примеру, его можно видеть в числе гербов, представленных на фронте дворца Великого князя Владимира Александровича, стоящего на Дворцовой набережной (теперешний Дом Ученых). Несмотря на это, «красно-золотой стяг» с течением времени стал использоваться радикальными сторонниками независимости Финляндии. Кроме того, он приобрел значение символа финляндских шведов – и, следовательно, желанного им возвращения к прежнему шведско-финляндскому единому государству. Сразу же после окончания Гражданской войны, 12 мая 1918 года, на бастионах Свеаборга, был поднят именно этот, «красно-золотой стяг», носивший еще наименование «львиного» («lejonflaggan»). Лишь четырьмя днями позднее, в преддверии Парада победы, Маннергейм, всегда принадлежавший к партии лоялистов, без церемоний распорядился сорвать его, заменив на бело-голубой. Под этим флагом и суждено было развиваться независимой Финляндии. Впрочем, сторонники красно-золотых цветов не отказались вполне ни от своих убеждений, ни символики. Посетив недавно музей известней-

шего финляндского художника прошлого века Аксели Галлен-Каллела, расположенный на северо-западной окраине Хельсинки, автор этих строк еще издавна заметил белый флаг с желтым крестом в красном окаймлении, реявший на высоком флагштоке у входа в музей. Как сообщили мне сотрудники музея, они поднимают его в память о славном художнике, работавшем его во время Гражданской войны в качестве варианта общеизвестного «красно-золотого стяга».

Что касалось русских царей, то они чувствовали себя в Финляндии в безопасности, и при первой возможности отправлялись туда отдохнуть. По общему мнению членов семьи Николая II, там прошли их счастливейшие дни. Фрейлине императрицы, Анне Вырубовой, запомнилось лицо Александры Федоровны, смотревшей на финские берега при возвращении морем из последней такой поездки тревожным летом 1914 года. «Государыня буквально заливалась слезами. Тогда она произнесла вещие слова, которые сохранятся в моей памяти так долго, как я проживу: „Я знаю, что наши чудесные дни на Финляндских островах отходят в прошлое и мы больше никогда не вернемся сюда все вместе на нашей яхте“». Чувство почти мистической связи с Финляндией сквозило в словах и других членов августейшей семьи...

Картина, намеченная выше, похожа на идиллию. Жизнь была, разумеется, более прозаична. Но дело обстояло благополучно еще долго, вплоть до лета 1917 года. Как подчеркивает современный финский историк Матти Клинге, специально изучавший происхождение русофобии в Финляндии, не то что до революции, но вплоть до начала 20-х годов ее практически не существовало. С этим «наследием царизма» скоро было покончено. События начались по-фински спокойно. При первой возможности, в декабре 1917 года финляндцы провозгласили самостоятельность. Эта дата празднуется у них и по сию пору как День независимости. Еще до начала нового года представители нового правительства посетили Петроград и получили подтверждение своей декларации независимости в Совете Народных Комиссаров. Немедленно вслед за этим в Финляндии началась гражданская война. Обе стороны вели ее с невиданным до сих пор ожесточением, оставившим глубокий след в народной памяти. Историки даже создали для него особый термин – «финская травма 18-го года». Сторонники буржуазной республики сумели собрать силы и победить до наступления лета. 16 мая 1918 года они устроили торжественное прохождение своих войск по Хельсинки. Парад прошел с подъемом, но чувство тревоги осталось и нарастало. Большевики постепенно брали под свой контроль огромную страну к востоку и югу от границ Финляндии. В 1920 году был образован ее, так сказать, антипод – Карельская трудовая коммуна, преобразованная через три года в Карельскую АССР.

Центром притяжения для «красных финнов» постепенно становился и Петроград. К концу двадцатых годов финская экономика вместе со всем миром капитала вошла в полосу глубокого кризиса. Началось снижение уровня жизни и безработица. Деятели финского рабочего движения стали поднимать головы и посматривать в сторону великого соседа, строившего общество «без кризисов и угнетения человека человеком». Правящие круги Финляндии не могли исключить повторения гражданской войны, но на этот раз при более эффективной поддержке с востока. Советские государственные и военные деятели тоже смотрели в сторону Финляндии с беспокойством. Сама по себе финская армия не представляла собой опасности. Однако она могла предоставить свои базы вооруженным силам более мощных стран. Возможность такого сценария была опробована еще в 1918 году, когда германский экспедиционный корпус Р. фон дер Гольца высадился в Финляндии и действовал в сотрудничестве с белофинскими войсками. Чтобы не быть захваченным, Балтийскому флоту пришлось тогда совершить бросок из Гельсингфорса в Кронштадт, исключительно трудный из-за льдов, покрывавших значительную часть Финского залива (это было в конце марта – начале апреля). В Петрограде запомнили тот поход – как, впрочем, и представлявшуюся тогда вполне выполнимой угрозой захвата невской столицы силами белофиннов. Товарищ

Троцкий тогда, явно рассчитывая разбередить подсознательные страхи финляндцев, поместил в «Правде» статью, где заявил, что мы в таком случае пустим на Гельсингфорс страшную «башкирскую конницу», специально для этой цели переведенную недавно на «петроградский фронт». Памятны были и попытки финской интервенции на Карельском перешейке (1919), равно как в восточной Карелии зимой 1921–1922 годов. Таким образом, в непосредственной близости от Петрограда, по середине Карельского перешейка прошла болезненная, саднящая граница, разделившая россиян и финляндцев.

Ленинград стал как бы поворачиваться к новой границе спиной. Не случайно проведенное ему в пару переименование Царицына в Сталинград, проведенное в 1925 году. Строилось новое «закрытое царство», и ось «Ленинград-Москва-Сталинград» составила его становой хребет. Финляндцы не были склонны к переименованию городов – разве что в соответствии с официальным курсом на двуязычие, каждому шведскому имени города было подыскано финское. К примеру, Гельсингфорс стал Хельсинки, а Таммерфорс – Тампере. Однако им тоже нужно было строить новый патриотизм. Ясно было, что в складывающихся обстоятельствах в одиночку не выстоять. Приходилось идти по давно проторенному маленькими нациями пути совмещения лояльности местным властям с чувством принадлежности к более обширной общности. Германская геополитика была в это время на подъеме. Она объясняла войны не волею государей, но борьбой разных рас за жизненное пространство. Основное содержание современной эпохи сводилось тут к противостоянию европейской, в первую очередь германской культуры – и «желтой опасности», кравшейся с Востока (сюда же включался и большевизм). Немного поколебавшись, правящие круги Финляндии склонились к этой идеологии. Колебания были связаны с неприятными воспоминаниями о гражданской войне. В красногвардейцы шли преимущественно низы общества, а чем ниже стоял человек на сословной лестнице старой Финляндии – тем больше была вероятность, что он говорил по-фински. На этом основании представители «белой кости», воспитанные в старом добром шведско-финляндском духе, природным финнам не доверяли, и даже говорили иногда о «финско-азиатской угрозе». Каковы бы ни были трения между общинами, но жить приходилось вместе, а природные финны составляли в новом государстве абсолютное большинство.

Пришлось теоретикам новой финляндской идентичности переоценить ситуацию и «сменить пластинку». Согласно новому, усовершенствованному варианту их теории, русские всегда были склонны к азиатскому деспотизму и тянули свои лапы к маленькой чистой Финляндии. Бедняжка же отстранялась от них с отвращением, устремляя свой взгляд на Запад с надеждой на помощь и избавление. Пущен был в оборот и термин «*tyssänviha*». «*Viha*» по-фински значит ненависть, «*tyssä*» – презрительная кличка русских (в литературном языке русского называют «*venäläinen*»). Все вместе означало подсознательное недоверие к восточным соседям, якобы присущее всякому нормальному финну едва ли не с пеленок. Начало распространения этих взглядов историки датируют примерно 1922 годом. В этом году был выпущен первый памфлет нового содержания с характерным названием «*Ryssästä saa puhua vain hammasta puren*», то есть «О русских можно говорить только скрипя зубами». Такого в Финляндии еще не было: случалось, что народ покачивал головами, но зубами скрипеть он все же не торопился. Последовали другие брошюры. Историки пожимали плечами, интеллигенты морщились, но депутаты парламента прислушивались к новым оборотам речи, и мало-помалу стали употреблять их в парламентских дебатах. С течением времени такая пропаганда принесла свои плоды. Сам Карл Густав Маннергейм думал еще по-старому и вряд ли принимал ее всерьез. По мнению историков, заветной его мечтой всегда оставалась отнюдь не независимость Финляндии, но смелый «петербургский проект», в который входило очищение Петрограда от большевиков силами финляндских полков и возвращение трона законной династии. После того, финляндским баронам во главе с Ман-

нергеймом осталось бы расположиться на верхних ступеньках близ царского трона, затем, чтобы вести впредь счастливую жизнь под скипетром российских императоров, навеки обязанных им своим чудесным спасением. Так думал сам Маннергейм, но люди, строившие линию, названную его именем, доверяли в массе своей тому, что писалось в газетах и говорилось с трибун. Они приучались смотреть на Ленинград с опаской и недоверием.

Близость этой границы послужила основным поводом для советско-финской войны 1939–1940 года, получившей у наших северных соседей наименование «Зимней войны» («Talvisota»). Советские дипломаты предъявили Финляндии пакет предложений, главным из которых было отодвинуть границу на несколько десятков километров к северу по Карельскому перешейку. Взамен финнам были предложены в порядке компенсации немалые территории в других пограничных районах. Нужно признать, что у Сталина в этом отношении был свой резон. При царях финляндская граница изменялась, и не раз. Бывали времена, когда она проходила и южнее от Выборга, и гораздо дальше на северо-запад, по реке Кюмени. Почему же нужно было выбрать из них самую близкую к Ленинграду? Развитие артиллерии позволяло непосредственно обстреливать город с самого южного ее участка. Другое дело, что об этом нужно было думать раньше, когда отпускали Финляндию. Однако тогдашняя ситуация исключала обстоятельные переговоры. За всем этим разумным декорумом у Сталина были и более далекие планы, клонившиеся к советизации Финляндии и ее включению в состав Союза.

Советские предложения были восприняты финнами однозначно. Сама мысль об утрате даже пяди перешейка была непереносима, не говоря о более далеких планах, наличие которых финнами предполагалось. Это касалось в первую очередь потери Выборга – «жемчужины Финляндии». Товарищ Молотов особо остановился в одном из своих выступлений осени 1939 года на отсутствии у советского государства даже тени таких намерений, гневно определив их как «вымысел и ложь». Надо ли говорить, что это еще более укрепило нервов финляндцев в их подозрениях. Оставалось воевать – и пушки вскоре заговорили. Советская армия действовала отнюдь не так неудачно, как принято полагать. В условиях зимних морозов (в дневниках современника, ленинградского драматурга Е.Л.Шварца, сохранилось упоминание о слухах, ходивших по городу в период этой нелегкой войны: «Во время финской кампании зима стояла неестественно суровая, словно ее наслали знаменитые финские колдуны»), с тогдашним несовершенным вооружением, ей удалось за три с небольшим месяца прорвать линию Маннергейма, пройти частично незамерзающие болота и понудить финнов к необходимым уступкам. С точки зрения тогдашнего советского руководства это была победа; современные историки говорят скорее о поражении. Финны же были крайне подавлены. По их мнению, между Сталиным и Гитлером на их счет было заключено нечто вроде нового Тильзитского соглашения. Это подозрение было недалеко от истины. При всех колебаниях, теперь финны больше всего боялись классово чуждой России. Под действием этого страха они решились на гораздо более тесный, чем раньше, союз с нацистской Германией. Что же касалось последней, то ее стратеги взяли на карандаш все слабости советской армии. События «Зимней войны» значительно укрепили их в мысли, что война с большевиками не будет тяжелой и долгой.

Летом следующего года, Германия напала на Советский Союз. К ней присоединилась и финская армия, действовавшая по преимуществу на Карельском перешейке и в самой Карелии. Нужно сказать, что почти с самого начала финская пропаганда трактовала это участие на свой лад, с рядом оговорок. Сюда относилась в первую очередь концепция отдельной финско-советской войны, ограниченной по замыслу для финляндцев. У финнов она так и называется по сию пору – «Jatkosota», то есть «Война-Продолжение», дополнительная по отношению к войне исходной, Зимней. Черты такого подхода в действительности прослеживаются, что не может затушевывать того позорного факта, что во второй мировой войне

Финляндия выступила как союзница нацистской Германии. Доля ответственности за блокаду Ленинграда должна быть возложена и на Финляндию. Лишения защитников города, так же как и их беспримерный героизм общеизвестны. Меньше пишут о планах захватчиков. Точнее говоря, хорошо известно, что в них входило стереть Ленинград с лица земли. Это представление не расходится с истиной. Достаточно сослаться на первый пункт знаменитой германской директивы от 22 сентября 1941 года, которая так и была озаглавлена: «Будущее города Петербурга». «Фюрер принял решение стереть город Петербург с лица земли», – говорилось там, а дальше стояло: «Финляндия также сообщила нам, что она не заинтересована в дальнейшем существовании города рядом с ее новыми границами». Из текста директивы можно заключить, что разрушение Ленинграда было нужно скорее немцам, а финны на это просто согласились. Против такого утверждения есть свои доводы. Так, специально изучавший архивные источники Х.М.Вайну пришел к выводу, что инициатива уничтожения города исходила все-таки из кругов, близких к финскому президенту Р.Рюти, а немцы присоединились к ней несколько позже.

Согласно достигнутой договоренности, Финляндия получала возможность присоединить обширные территории Карельского перешейка, Восточной Карелии, а к ним – возможно и Кольского полуострова. Есть основания полагать, что радикальные националисты вынашивали проекты, шедшие еще дальше, вроде установления протектората над северными российскими землями до Урала, исторически заселенными народами финно-угорского происхождения. На юге граница между намечавшейся таким образом «Великой Финляндией» (Suursuomi) и германским рейхом должна была проходить по реке Неве. Надо сказать, что немцы в общем не возражали против того, чтобы местные финны остались на своих землях. Но, в соответствии с принципиальным курсом на «чистоту расы» более желательным представлялось, чтобы они без спешки собрали пожитки, и перебрались на север от основного течения Невы, к своим. Что же касалось Ленинграда, то он приходился точно на границу между двумя будущими «державами-победительницами». Географическое положение звучало как приговор: «Ленинград должен погибнуть», – энергично заявил Гитлер на одном из обедов весной 1942 года, – «В дальнейшем Нева станет границей между финнами и нами. Ленинградские порты и верфи пусть дальше приходят в упадок. Только одно государство может хозяйничать на Балтийском море – внутреннем море Германии». Эти слова отразили и финляндскую точку зрения того времени. Так, в архиве Ю.Паасикиви сохранился и был позднее опубликован текст торжественной речи, которую он предполагал в качестве государственного советника произнести по финляндскому радио в день взятия Ленинграда, первоначально намеченного, как мы помним, на 1941 год. По объективным причинам, речь эта никогда не была произнесена, но ее направление более чем интересно. Касаясь исторической миссии Петербурга, финский политик выделил якобы присущий городу со дня его основания «захватнический дух». С этим можно спорить, однако пока еще это рациональные аргументы. Но вот Паасикиви как будто сбивается, переходя на язык метафизики: «Для нас, финнов, Петербург всегда был воистину городом, накликавшим несчастья». Таким языком скорее нашептывает подсознание, чем уверяет расчет. Что же касалось истории, то она прибавила сюда щепоть иронии. Как помнит читатель, делом жизни Паасикиви стало налаживание добрососедских отношений послевоенной Финляндии с Советским Союзом, откуда пошло и общеизвестное выражение – «мирная линия Паасикиви-Кекконена»...

Внятен был «дух Петербурга» и Карлу Густаву Маннергейму. Почтение, которым он пользовался в среде финских политиков и офицеров, было бесспорно. Тем любопытнее анекдот, распространившийся в их среде в начале войны. Речь шла об одном из заседаний 1941 года, на котором германские эмиссары развивали проект разрушения Ленинграда. Маннергейм рассеянно смотрел в окно, барабанил пальцами по столу, а затем в наступившей паузе пробормотал что-то вроде: «Разрушить, конечно, можно... Только ведь они его

снова построят». Повидимому, анекдот передавал фрагмент подлинных дебатов, поскольку он отражен в ряде надежных источников. В нем нашла отражение интуиция пронизательного политика о том, что Петербург – это не скопление доков, верфей и бог знает чего еще, вплоть до гранитной колонны на Дворцовой площади. Петербург есть в первую голову миф, идея, которую можно ненавидеть, но нельзя отменить. Может быть, Маннергейму вспомнились тогда безоблачные годы, которые он провел в Петербурге до революции. Квартира его была на углу Конюшенной площади и Большой Конюшенной улицы, сам барон был блестящим офицером и подлинным петербуржцем. Возможно, припомнился ему и последний приезд в Петроград, в декабре 1917 года. Дело уже шло к независимости Финляндии, а он все бродил по городу, погружавшемуся в хаос, ища, кому бы вернуть шпагу, то есть подать прошение об отставке. Даже в той ситуации Маннергейму было важно, чтобы его никто не смог упрекнуть в дезертирстве из-под знамен державы, которой он присягал. Как жаль, что у тогдашней России не было лидера с его нравственными и интеллектуальными качествами!

Помимо всяческой метафизики были, конечно, и рациональные аргументы. Маннергейм мог напомнить присутствовавшим о дебатах 1917–1919 годов, когда один из «отцов финляндской независимости» П.Свинхувуд настаивал на том, чтобы придать Петербургу статус вольного города на манер Данцига. В ответ его более решительно настроенные коллеги говорили, что и вольного города не надо, а следует скрыть все, и делу конец. Представители германского командования слушали тогда эти финляндские фантазии с немалым удивлением, после чего качали головами и говорили, что, очевидно, быстрое обретение суверенитета бьет в голову наподобие шампанского вдовы Клико. К числу более затаенных мыслей Маннергейма принадлежала та, что Германия могла проиграть войну. Тогда, по его расчету, борьба за передел мира вскоре продолжилась бы столкновением атлантической цивилизации с большевистской Россией. В поражении последней Маннергейм не сомневался. Но в этом случае выходило, что после войны на ее развалинах будет воссоздано буржуазное государство, а может быть и монархия. Столицу тогда будет естественно перенести обратно в Петербург. Но если он к тому времени будет разрушен – русские этого никогда не простят. Город будет отстроен заново, над Невой будет поставлен второй Медный всадник, а финнам придется поколениями выплачивать контрибуцию и нести славу новых геростратов и вандалов. «Нет, петербургский дух так просто не вытравишь», – должен был думать Маннергейм, и он, как всегда, был вполне прав.

Встретив упорное сопротивление, немецко-фашистские войска взяли Ленинград в кольцо. Финские войска заняли на Карельском перешейке позиции, примерно следовавшие довоенной советско-финляндской границе (с «запасом» от 5 до 15 километров) и непосредственного участия в блокаде не приняли. Дело затягивалось: о том периоде войны напоминают остатки укреплений, сооруженных агрессорами на подступах к городу. Мы имеем в виду созданный немцами «северный вал», а также остатки «карельского вала», возведенного финляндскими фортификаторами в 1940-х годах поперек Карельского полуострова параллельно так называемой «линии Маннергейма» (1924–1939), но гораздо ближе к Ленинграду (по реке Сестре и дальше на северо-восток, по направлению к теперешнему Сосново). Обе линии укреплений были взломаны Красной армией в ходе наступательных операций 1944 года, итогом которых было возвращение оккупированных территорий, и перенос войны на земли противника.

В послевоенной советской историографии последовательность этих операций была осмыслена в виде «десяти ударов Советской Армии». Снятие блокады мыслилось как «первый удар», давший толчок лавине, двинувшейся на огромном пространстве от Балтики до Черного моря и вынесшей советские войска на границу срединной Европы. При всех сдвигах, произошедших после революции, тут можно и должно видеть преимущество по отношению к «петербургскому делу», первейшую задачу которого его основатели видели в

прорыве в Европу. «Четвертый удар» был нанесен советскими войсками на Карельском перешейке и в Восточной Карелии, «десятый» – в заполярной Финляндии, на подступах к Мурманску (там немцы сосредоточили довольно значительную группировку войск). В сентябре 1944 года было подписано сепаратное советско-финское соглашение о перемирии. Вслед за этим Финляндия даже объявила войну нацистской Германии. Мирное будущее нашей страны и существование города на Неве были обеспечены.

В результате войны, Финляндия передала Советскому Союзу около десятой части своей территории, включая и земли Карельского перешейка, и выплатила в порядке репарации сумму порядка 500 миллионов теперешних долларов. Дело, однако, было не только в репарациях: все понимали, что в мире складывается новый баланс сил, и место Финляндии в нем предстояло определить. Реально речь шла о том, придется ли Финляндии принять статус народной демократии и войти в сферу влияния СССР, или нет. Решение этого вопроса особенно остро стояло в первые два-три года после войны. У финнов они так и называются до сих пор – «Годы опасности». В 1948 году, им удалось заключить весьма мягкий по отношению к финскому суверенитету договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с Советским Союзом. Договор дважды продлевался, каждый раз на 20 лет (досрочно в 1955 году, потом в 1970-м). По сути дела, он оформил и закрепил ту гибкую концепцию отношений с внешним миром, которая получила у обществоведов и политологов название «финляндизации». Суть ее состояла в том, что, сохраняя принадлежность к западному миру, Финляндия вошла с Советским Союзом в особые отношения, исключавшие военную конфронтацию и предполагавшие оживленные взаимовыгодные связи. Последовательное проведение в жизнь «финляндизации» способствовало восстановлению в новых, советских условиях некоторых черт старого мифа о Петербурге как «окне в Европу» – по крайней мере, смутных воспоминаний о временах, когда граница с «настоящей западноевропейской страной» проходила в непосредственной близости от города, по так называемой «Ржавой канаве», между теперешним Сестрорецком и Дюнами.

«Пригородные финны»

Когда настала пора официальной передачи Ингерманландии шведской короне, в соответствии с условиями Столбовского мира 1617 года, царское правительство приняло на себя обязательство не выводить крестьянское население из края, и без того уж изрядно опустевшего за годы военного лихолетья. Тем не менее, большинство русских людей, а ними и значительная часть карел, почли за благо собрать свой скарб и перебраться на юг от новой границы со Швецией. Обнаружив на новых землях, в особенности на Карельском перешейке, пустовавшие поселки, шведы приняли меры к их заселению, в основном за счет природных финнов, переселявшихся из отдаленных районов Финляндии. Так обновилось население Токсова, Кавголова и прочих деревень и поселков, названия которых мелькают перед взором пассажира Октябрьской железной дороги до сего дня. Что касалось самого Ниена, то финский дух в этом небольшом шведском городе Ореховецкого лена (то есть провинции) был довольно силен. На улицах слышалась финская речь, был в городе и финский лютеранский приход (православная служба «на финском языке», то есть скорее всего на водском или ижорском, не одобрялась, а то и преследовалась шведскими чиновниками от религии). Бытовали религиозные книги на финском языке, в том числе напечатанные кириллицей. Однако самый существенный вклад в метафизику будущего Петербурга внесло именно масштабное переселение XVII века. В результате него, финны сильно приблизились к городу, в то время как карельское присутствие сошло на нет. Как следствие, финское население приневских земель, возводившее свою родословную к переселенцам времен Столбовского мира, и составило основную часть тех «пригородных финнов», присутствие которых на рынках и улицах

Петербурга, в особенности же в его окрестностях, впоследствии составляло характерную примету этнической ситуации нашего города на протяжении всей его дальнейшей истории.

Среди новых жителей приневского края сразу выделились переселенцы из близлежащих районов, преимущественно с северной части Карельского перешейка. Они перебрались сюда раньше прочих финнов и долго держались от них в стороне, подчеркивая свою домовитость приверженность старым традициям и обрядам. Жителям позднейшего Петербурга они были известны под именем «эврейсет» (по-фински «äygmöiset», от Эурияпя – названия одного из приходов на их старом месте проживания). Эврейсет предпочитали селиться подальше от большого города – в северной части Карельского перешейка, по побережью Финского залива за Стрельной, а также на южной окраине губернии, поблизости от Вырицы и Тосно. Другая группа переселенцев пришла позже, со стороны расположенной к западу от Карелии земли Саво, и приняла по ней имя «савакот» (savakot). Эти финны считались более оборотистыми и быстрыми на подъем. Соответственно, савакот расположились ближе к Петербургу, прежде всего в южной части Карельского перешейка и по обоим берегам реки Невы. Жили они и в других местах – к примеру, на территории так называемых «потемкинских поместий» южной части Карельского перешейка, вроде Токсова. Тут они выделялись особой задиристостью, с форсом именую себя «настоящие государственные», и конечно, не допуская к своим девушкам женихов-эврейсет. В старину различия между этими группами были очень существенны. Так, эврейсет считали себя более твердыми в вере, а савакот обвиняли в недопустимой переимчивости. Как ни странно, это мнение было недалеко от истины: когда в конце XIX века в приневском крае появились сектанты, в особенности «прыгуны», их странные обычаи и приемы молитвы имели особенный успех именно в среде савакот.

Исторически финны никогда не давали властям особых поводов для беспокойства. Точнее сказать, в самом начале, при завоевании Ингерманландии войсками Петра I, они некоторое время сохраняли преданность старым властям. «Чухна не смирны,» – отмечал в донесении царю фельдмаршал Шереметев, от стен Ниеншанца отправившийся брат Ямы и Копорье, – «Чинят некия пакости и отсталых стреляют, и малолюдством проезжать трудно; и русские мужики к нам неприятны: многое число беглых из Новгорода и с Валдай, и ото Пскова, и добры они к шведам нежели к нам». Почувствовав твердую руку царей, местные жители перестроились и больше уже не давали оснований сомневаться в своей лояльности. С конца XVIII века доля финского населения стабилизировалась и составляла 8–9 процентов сельского населения северо-запада России. В некоторых районах Петербурга, традиционно служивших центрами притяжения финнов, таких, как в первую очередь Выборгская часть, их доля могла достигать до 12, а с учетом приезжих – и до 15 процентов, но то уже был предел. Русские, доля которых в общем и целом никогда не опускалась ниже 90 процентов, решительно не ощущали никакой угрозы с этой стороны.

Говоря более строго, материалы по исторической психологии петербуржцев дают более разнообразную картину. Историк припомнит и лубочную сатиру на Петра I, где государыня Екатерина Алексеевна обозвана «чухонкой Маланьей», и то, что наложница царевича Алексея, едва не вышедшая в жены, известная Ефросинья Федорова, была по происхождению чухонкой. Народ отметил это в свое время с некоторым неодобрением. Можно припомнить и ходившие в свое время по Петербургу упорные слухи о том, что подлинный государь Павел Петрович родился-де мертвым, и был подменен в колыбели чухонским младенцем (специалисты не исключают, что слухи восходили к самой матери, Екатерине II, которая таким образом пыталась поставить под сомнение его права на престол). Перечень таких фрагментов можно продлить вплоть до XX века. В минуту раздражения тещей, поэт Александр Блок записал в дневнике, что она-де женственная, но пустая чухонка (на самом деле в жилах жены Д.И. Менделеева текла шведская кровь). Но о чем же все это говорило?

Разве только о низком общественном положении чухонцев, равно как и об их далеко зашедшей ассимиляции.

Впоследствии у нас сложилась прочная традиция бытописательства, начатая прославленным сборником «Физиология Петербурга», вышедшим в 1844, и продолжающаяся с некоторыми перерывами вплоть до написанных в наши дни воспоминаний Л.В.Успенского, Д.А.Засосова, В.И.Пызина, а с ними и многих других мемуаристов и краеведов. Кто еще рассказал бы нам о любимых петербуржцами лиловато-коричневых кренделях с непременно припекшимися к нижней, светлой стороне угольками и соломинками? Они продавались во многочисленных финских булочных. Кто поведал бы нам о поездках на дачу, на Карельский перешеек поездками Финляндской железной дороги? Их деловитые финские служащие были одеты в одинаковые голубые кепи. Откуда узнали бы мы о такой характерной примете петербургского рождества, как молчаливые «пригородные чухны», привозившие в сумерки сотни елок? Они сваливали их у Гостиного двора, на Сенном рынке, и далее – едва ли не к каждой зеленой лавке. Что же тут говорить! Положительно, Рождество имело для жителя Петербурга финскую окраску, так же как и масленица, с традиционным катанием на финских извозчиках – «вейках».

Прекращение петербургского периода российской истории совпало по времени с отделением Финляндии. Причинная связь здесь была, и прямая: о ней любили поговорить еще первые революционные демократы. «Для нас самостоятельность Финляндии становится такой же дорогою, внутреннею мыслью и целью, как для финнов коренное преобразование России из петербургской в народную и федеративную», – писал Н.П.Огарев. По поводу этих слов можно иронизировать – но нельзя отрицать того, что в независимости Финляндии Огарев видел залог ее мирного соседства с Петербургом.

После революции, изрядно перетряхнувшей все население города и области, и это забылось. Весной 1918 года, не дожидаясь полного поражения в своей Гражданской войне, в Петроград прибыла первая группа финляндских красногвардейцев, довольно значительная по численности. Беженцев разместили по всему городу, от Выборгской части – до Павловских казарм на Марсовом поле. Едва оправившись от потрясений, они решили принять участие в праздновании Дня международной солидарности трудящихся – первого после победы в России пролетарской революции, вышли и разом влились в колонны Первомайской демонстрации. Их оказалось так много, что многих жителей Петрограда это насторожило. Чуткое ухо петроградского обывателя, издерганного лишениями и бедствиями, с тревогой прислушивалось к голосам, новым для центра «северной Пальмиры». «Когда бежали русские из опустелой столицы, вдруг заговорила было по-фински, по-эстонски петербургская улица. И стало жутко: не возвращается ли Ингерманландия, с гибелью дела Петрова, на берега Невы? Но нет, русская стихия победила, понажала из ближайших и дальних уездов, даже губерний, возвращая жизнь и кровообращение в коченевшую Северную Коммуну», – писал в 1926 году знакомый с событиями не понаслышке Г.П.Федотов.

В окрестностях Ленинграда осталось около 200 тысяч сельского населения, плюс еще примерно десятая часть этого числа в городе. Большинство из «пригородных финнов» чувствовало себя полноценными советскими гражданами, так что репрессии тридцатых годов свалились им как снег на голову. Плоды же тех грустных событий годов более чем значительны для нашей темы. До того времени можно с известными оговорками рассуждать о непрерывности образа жизни и духовной традиции прибалтийско-финских народов Ингерманландии: еще в середине двадцатых годов, ленинградский этнограф Н.И.Гаген-Торн без особых усилий обнаружила и описала тайный «бабий праздник» весьма архаичного типа в ижорской деревне, в непосредственной близости от Ленинграда. Руны записывались едва ли не повсеместно; примеры легко умножить. После сороковых годов, взгляду исследователя открывается картина случайно уцелевших обломков этой традиционной культуры.

С точки зрения властей, главная вина «пригородных финнов» состояла в том, что граница новой, независимой Финляндии прошла по Карельскому перешейку, почему их деревни и оказались в приграничной полосе. Следовательно, в случае войны они могли выступить как «пятая колонна» белофиннов. Серьезных поводов так думать не было. Ингерманландцам можно было припомнить разве лишь то, что их небольшие соединения воевали на стороне эстонцев и финнов во время «похода на Петроград» в 1919 году. Целью национального движения ингерманландских финнов, провозглашенной летом того же, 1919 года, было достижение независимости, возможно – в составе федеративного государства финнов, эстонцев и карелов. Тогда же был принят их новый национальный флаг в виде синего креста с красной каймой на желтом поле и начали формироваться национальные органы власти. Уже в 1920 году, эта попытка национального самоопределения потерпела провал.

Следует подчеркнуть, что абсолютное большинство «пригородных финнов» либо не знало об этих планах, либо и думать о них забыло. Впрочем, кого в сталинскую эпоху заботили исторические соображения и доказательства? Правовую базу преследований – если здесь можно говорить о праве – составил ряд актов, прежде всего постановление бюро Ленинградского обкома ВКП(б) от 1930 года о выселении местного населения из погранполосы, с целью обеспечения безопасности Ленинграда. Далее надо назвать распоряжение НКВД СССР от 1935 года об очистке погранзоны Ленинградской области и Карелии от кулаков и антисоветских элементов, в порядке репрессии. Даже цитирование казенной фразеологии этих учреждений оставляет неприятное впечатление. Что же говорить о реальной жизни! Из Куйвозовско-Токсовского национального финского района в один недобрый день за двадцать четыре часа было выслано более 22 тысяч человек, в итоге чего опустело не менее ста деревень. Репрессии коснулись также других сельских районов. Ну, а потом накатил вал 1937–1938 годов, накрывший и городских финнов. Те, кому дали малые сроки, считали себя удачливыми. Закрыты были культурно-образовательные учреждения, а их было немало: одних финноязычных школ более трех сотен, не говоря о театральной студии, радиопередачах и газетах.

Все эти безобразия были так же необоснованны, как издевательства над целым рядом народов и общественных групп, предпринятые в те годы. Пригородные финны были в массе своей вполне лояльны – а, говоря человеческим языком, хотели оставаться в родных местах вне зависимости от того, какая власть была наверху. В подтверждение этого приведем лишь один удивительный эпизод их послевоенной истории. За годы второй мировой войны порядка 63 тысяч финнов Ленинградской области попали на территорию Финляндии и прижились там. Сразу после заключения мира к ним поехали сталинские эмиссары, уговаривая вернуться обратно, в братскую семью народов, и обещая прощение. Так вот, не менее 50 тысяч подумали – и вернулись обратно. А ведь эти люди помнили репрессии тридцатых годов, финскую войну, равно как следовавшие за ней новые репрессии. Нужно ли добавлять, что их эшелоны пошли из Финляндии не в родные места, а в отдаленные местности центральной России, если не прямо на лесоповал.

После войны, по мере укрепления политики «финляндизации», в городе снова появилось достаточно много этнических финнов. Впрочем, на сей раз то были туристы, перемещавшиеся по городу в комфортабельных автобусах под бдительным оком компетентных органов, по преимуществу в пределах «золотого треугольника», ограниченного Эрмитажем, Кировским театром и рестораном «Садко», и в живое общение с жителями города практически не вступали. В конечном итоге, «финский мир», столетиями игравший не первую и не вторую, но все же слышную партию в мелодии города, теперь в значительной части был оттеснен на северо-запад и замкнут за новой границей.

Голос болот

Вчитавшись в текст Вступления к «Медному всаднику», мы видим, что «приют убогого чухонца», равно как другие приметы предыстории Петербурга, занимает в ней свое, хотя и очень скромное место. До прихода Петра тут было царство природы, частично им покоренное, частично же загнанное в бездны, где продолжало яриться, показывая по временам свой нрав в виде наводнений. Частью этого царства и был народ «печальных пасынков природы», привыкший ждать от нее милостей и слившийся с нею издревле в одно целое. Тут нужно заметить, что Пушкин знал о финнах гораздо больше: достаточно обратиться к его юношеской поэме «Руслан и Людмила». Кто не помнит начала ее первой песни с ученым котом, разгуливающим по цепи, и богатырями, выходящими из моря. «Там русский дух... там Русью пахнет!», – воскликнул поэт, и мы готовы согласиться с ним, оговорившись, что и финского духа в поэме предостаточно, более того – именно он обеспечивает движение интриги на ее основных поворотах.

«Но слушай: в родине моей / Между пустынных рыбаей / Наука дивная таится, / Под кровом вечной тишины, / Среди лесов, в глуши далекой, / Живут седые колдуны; / К предметам мудрости высокой / Все мысли их устремлены; / Всё слышит голос их ужасный, / Что было и что будет вновь, / И грозной воле их подвластны / И гроб и самая любовь»... Эти слова вложены в первой песни поэмы в уста старому Финну – одному из троицы волшебников, борющихся за Людмилу. В беседе с Русланом старец рассказывает, что родом он – «природный финн», родившийся в северном краю утесов и дремучих лесов. Наина принадлежит к тому же народу. Финн встретил ее в молодости, поскольку она жила на соседнем хуторе. На происхождение Наины указывает и ее имя: по-фински «*nainen*» значит женщина. Что же касается Черномора, то он живет где-то еще севернее, среди обнаженного леса и угрюмых гор. Он происходит из другого рода, чем Наина и Финн, но понаслышке знает обоих, и даже как будто находится с ними в каких-то сложных отношениях. Это выясняется, когда Наина прилетает к Черномору в облике черного змия. Учитывая дополнительные сведения – к примеру, возможную причастность к похищению светил («он звезды сводит с небосклона, он свистнет – задрожит луна»), в образе Черномора просматриваются черты, близкие к владыке Похьёлы из мифологии «Калевалы».

Магические действия этих персонажей описаны в подробностях, и играют едва ли не ключевую роль в движении сюжета к развязке. Достаточно перечитать поэму с этой точки зрения, чтобы убедиться в ее справедливости. Но какой был смысл делать волшебников финнами – то есть относить их к народу, давно известному жителям Петербурга, причем с довольно прозаической стороны? На то было две причины, первая – литературная: «Руслан и Людмила» – романтическая поэма, а в этом стиле на северную Европу было принято смотреть как на край загадочный и туманный, родину всяческих бардов и скальдов. Присоединив Финляндию в 1809 году, Россия как бы получила удел в этом нордическом наследстве. Сначала наши поэты увидели там рунические камни, развалины храмов Одина и готические замки – то есть скандинавские, по преимуществу старошведские древности. Однакоже местный колорит представлял настолько богатые возможности для романтически настроенного писателя, что нужен был лишь легкий «поворот винта», чтобы выпустить на сцену совсем иных персонажей. Так и произошло, а финское колдовство стало подлинной «притчей во языцех» российских литераторов 1820–1830 годов. Вводя в свою поэму образы финских волшебников, Пушкин примыкал таким образом к одной из влиятельных тенденций отечественной словесности своего времени.

Другим источником Пушкина было устное народное творчество. Исследователи уже обратили внимание на то, что некоторые образы в его поэзии можно объяснить только,

исходя из данных смешанной русско-финской традиции в том виде, в котором она сложилась тогда в селах Петербургской губернии. Такова царевна-лебедь в «Сказке о царе Салтане»: как мы помним, у ней «месяц под косой блестит, / А во лбу звезда горит». С одной стороны, образ девы-лебеди принадлежит в миру русского фольклора, а также и сватовства – это, конечно, исконно русский образ. Удачное сватовство у нас неизменно сравнивали с хорошей охотой. Что же касается звезды во лбу и месяца под косой, то для русского фольклора того времени, это – примета решительно необычная. Зато у наследников традиции «Калевалы» она пользовалась широкой известностью, в особенности в Ингерманландии. Как верно напомнил известный исследователь карело-финского фольклора Э.С.Киуру, в XIX веке здесь были записаны варианты руны, где героиня отправлялась в Похьёлу выручать похищенные светила и возвращалась, принося их на голове, бровях или плечах.

Руны этого круга вовсе не были потаенными. Русские и чухонские девки имели обыкновение распевать их, забравшись на качели. Был и такой обычай: взявшись под локотки, женщины составляли плотную шеренгу, перегораживали главную улицу деревни и гуляли по ней взад и вперед, распевая древние руны во все горло... Надо думать, что информант Пушкина был знаком с культурой этого круга, а то и сам – точнее, сама – расхаживала по своей деревне, какой-нибудь Суйде или Кобрино, ведя древний напев, поводя плечами, и стреляя глазками по сторонам. Названия деревень даны тут не случайно. В этих местах под Гатчиной родилась, выросла и жила некоторое время после замужества известная Арина Родионовна, няня Пушкина. По матери она была русская, отец же девочки, по имени Родион Яковлев, был крещеный чужин, скорее всего, – карел или ижорец. Факт этот малоизвестен, но ничего не решает: культура тех мест была сплошь смешанной, финско-русской. Таков был родник, откуда Пушкин черпал свои познания «старинных былей, небылиц».

Итак, поэт мог смотреть на финскую магическую традицию как на исконную для окрестностей Петербурга и в общих чертах знакомую с детства, по крайней мере понаслышке. При этом она оставалась замкнутой в «делах давно минувших дней, преданьях старины глубокой». Этому не противоречило присутствие финского волшебства при переходе от старины к современности, то есть при заложении города. Мысль такого рода могла быть Пушкину не чуждой. На нее наводит сходство «пустынных рыбарей» из речи Финна с такими выражениями из Вступления к «Медному всаднику» как «пустынные волны» и «финские рыболовы»... Впрочем, не будем вычитывать из текста «Медного всадника» того, чего в нем нет. Создавая «петербургский текст», Пушкин с самого начала исключил из него участие финской магии в основании Петербурга. Принимать это решение или нет, никогда не было вопросом для русской культуры. Вместе с тем, ощущение некоторой неполноты подспудно оставалось. Оно было разрешено в вышедшей в 1841 году повести В.Ф.Одоевского «Саламандра».

Действие повести приурочено к первой половине XVIII столетия. Легенда об основании Петербурга вложена в уста одного из героев – природного финна, уроженца Иматры и адепта древних тайн своего народа. Соперничество за устье Невы объясняется тем, что здесь зарыта приносящая счастье волшебная мельница Сампо. Петр I не может так просто построить свой город, поскольку его тут же засосало бы болото. Царю приходится сковать город на воздухе, и уже готовым опустить на топкие невские берега. Умирив стихии, царь возлагает на себя венец и золотит благодарную Финляндию. Современные исследователи склоняются к мысли о литературном происхождении этой легенды. «Приведенный рассказ, конечно, характеризует не финский фольклор, а концепцию Петербурга в том кругу близких к Пушкину петербургских литераторов 1830-х годов, к которым принадлежал и Одоевский», – решительно заметил Ю.М.Лотман. Признавая влияние литературной традиции, нужно напомнить, что среди местных рунопевцев времен Одоевского нередким было убеждение, что волшебная мельница Сампо либо хранится до времени в земле (или в болоте),

либо она уже слилась с почвой. Как верно отметил В.Г.Базанов, с таким толкованием встретился сам Элиас Лённрот и сочувственно процитировал его в одном из своих писем 1849 года. По его мнению, финское название Финляндии – «Suomi» (а следовательно, и болота как такового – «suo») содержит тот же корень, что и слово «Сампо».

Интересно в повести и то, что болото не принимает града построенного, но принимает град кованый. Здесь видно взаимное тяготение – или, говоря старинным языком, симпатия таких несхожих начал, как влажное болото и раскаленный металл. На нынешний взгляд тут есть противоречие, на старый – отнюдь нет. Дело в том, что обитатели наших мест в старину не знали высококачественного железа, а довольствовались так называемым самородным, которое по определенным приметам находили в болотах. Историки рудяного промысла этого типа подтверждают его исконную распространенность в наших местах, в первую голову – на заболоченных территориях южной Ингерманландии, простирающихся полосой от Копорья до Орешка. В этом контексте предание о ковке Петербурга над болотом выглядит отнюдь не так странно – более того, оно воскрешает давно позабытые знания.

Знакомство В.Одоевского с преданиями финской старины не подлежит сомнению. В предуведомлении автора, предпосланном тексту «Саламандры», прямо говорится о «Калевале», с уважением поминается имя Элиаса Лённрота, упоминаются и главные информанты писателя – русские крестьяне, живущие в Карелии. Говоря о магической культуре финнов, Одоевский пишет: «Жизнь, близкая к природе, научила их знать свойства трав и корней; им известны даже таинства животного магнетизма; все это играет у них роль колдовства; послушайте рассказы о нем русских крестьян, поселившихся в Финляндии». По тексту повести рассыпаны и другие небезынтересные намеки. Так, героиня повести, младая Эльса, с детства знакомая с финской магией, поселяется в Петербурге и приобретает некоторую известность. Во всяком случае, доктор из местных немцев, склонный к оккультным занятиям, приглашает ее на сеанс, угощает настоем опия и сосредоточенно слушает. Эльса впадает в транс, уходит в себя – и наконец, начинает петь руны «Калевалы»... Учитывая едва ли не ведущее место В.Одоевского в оккультных кругах Петербурга (его нередко именовали «русским Фаустом»), в возможности сеансов такого рода трудно сомневаться. Историки литературы добавляют к этому, что архив Одоевского сохранил также заметки о его странствиях по Финляндии, и даже записи 25 рун. Приняв во внимание сказанное, нужно предположить, что положение о чисто литературном происхождении «Саламандры» нуждается в определенной корректировке.

В творчестве Н.Греча наше внимание привлекает роман «Черная женщина», вышедший первым изданием в 1834 году. Было время, когда им у нас просто зачитывались. Одна из начальных сцен задает общий тон романа. Она происходит в окрестностях Петербурга, в Финляндской Швейцарии, в селе Токсово, ранней осенью 1796 года. Случай сводит вечером, у камина нескольких петербургских дворян, таинственного чудака Алимари и местного пастора. Рассказываются всяческие страшные истории – преимущественно из жизни шведского двора, но также и из времен Анны Иоанновны. Пробудившись ото сна, собеседники завтракают и отправляются осматривать окрестности. Вид увядающей природы вновь вызывает у них прилив мистического настроения. С ним согласуется и грустный звук флейты, на которой играет Алимари: он встал раньше других и отправился на склон горы над знаменитыми токсовскими озерами. Услышав от пастора, что местность стала гористой после древней катастрофы – скорее всего, землетрясения – он бледнеет и начинает собираться в путь. Торопятся и остальные. «Барометр падает, и мне не хотелось бы погрязнуть в финских болотах», – фыркает один из них. «Древний ужас», *terror antiquus*, поднимающийся со дна болот, накладывает отпечаток на дальнейшие поступки и размышления героев. Отголоски его прослеживаются в предсмертном письме Алимари, написанном одному из его давних токсовских собеседников. Торопясь передать не дающую ему покоя и, видимо, важную мета-

физическую идею, старец писал, что жизнь человеческая берет начало в Боге и связана с ним неразрывно, наподобие растения, вырастающего из черной влажной почвы, и берущего из нее все необходимое для жизни. Эта «низкая» интуиция, помещающая божественное начало не в надзвездные сферы, но гораздо ближе, буквально под ноги, была достаточно распространена во времена Греча, но отнюдь не преобладавшей. Учитывая то, что письмо завершает роман и как бы подводит под ним черту, можно полагать, что это чувство, навеянное прогулками по болотам, не было вполне чуждым и самому автору.

Финская метафизика была чужда как Гречу, так и его героям. Впрочем, стоит принять во внимание, что Токсово было крупным и едва ли не ближайшим к Петербургу центром финского населения. Первенствовало оно и в духовном отношении: место пастора местной кирхи считалось весьма ответственным. Так, в послужном списке Густава Левануса, возглавившего в 1733 году финско-шведскую лютеранскую общину Санкт-Петербурга, значились непосредственно до того служба настоятелем токсовской кирхи, а еще ранее – помощником пастора в Выборгее, чужда она была и героям Греча. Последовательность мест службы говорит сама за себя! К этому стоит добавить, что окрестности Токсова всегда изобиловали урочищами, связанными с нечистой силой. Взять для примера хотя бы ту улицу, на которой стоял в старину домик местного пастора. В нем, как мы помним, произошла та вечерняя беседа о мистике, с которой и начинался роман Н.Греча. Теперь она представляет собой длинный тупик, который начинается сразу за новой лютеранской кирхой – слева, если ехать по шоссе из Петербурга. Между тем, в старые времена, она представляла собой отрезок важнейшего тракта, ведущего из Нотебурга в финские земли. Несколько далее по ее трассе, вблизи нынешнего «лыжедрома», располагалась так называемая Чертова поляна, внушавшая окрестному населению подлинный страх. На поляне лежал огромный валун со следами древних петроглифов, получивший у финнов наименование Чертова камня («Pirukivi»). Ближайшее поселение по этой дороге носит название Хиттолово, что в говоре местных жителей также означает «Чертова». Впрочем, они сохранили и память о том, что в старые времена деревня, напротив, носила имя «Святая». Как хорошо знают этнографы, такие названия обычно маркируют места, где до принятия христианства отправлялись языческие культы. По другую сторону токсовской горы, которые выбрали для прогулки герои Греча, лежит озеро Хэпоярви, а это означало на диалекте местных финнов не что иное, как «Лошадиное». Один из красивейших его мысов носит название Хэвоспя, то есть «Конская голова». Таким образом, легенды о жертве коня, очень распространенные в седой древности в ладожском ареале, скорее всего сказывались, а может быть, и создавались на берегах токсовских озер. Нам ничего не известно, правда, о раскопках на вершине токсовского холма – там, где стояла старая кирха, а рядом с ней и дом пастора. Однако христианские храмы так часто ставились на руинах языческих капищ, что их результат, кажется, можно предугадать. Основываясь на таких наблюдениях, можно предположить, что выбор Токсова был не ключевым, но и не вполне случайным для замысла романиста.

Намеченный таким образом «токсовский текст» внес свою лепту в состав всего «петербургского текста». Учет этого обстоятельства позволяет сделать полезные дополнения к пониманию творчества некоторых петербургских писателей. Последним в их ряду был, кажется, Константин Вагинов, посвятивший свое перо описанию литературного быта ленинградской интеллигенции 1920-х годов. Особое место в творчестве Вагинова занял роман «Труды и дни Свистонова», вышедший из печати в 1929 году. Герою романа – писателю Свистонову – автор доверил некоторые из своих излюбленных мыслей. Уже во второй главе он отправил своего героя на токсовскую дачу, на лето, поработать и проветриться. Глава так и названа: «Токсово». В один из вечеров дачники отправляются на прогулку по окрестностям Токсова, поднимаются на холмы и спускаются к озерам. Свистонов идет под руку с глухой женщиной. Беседу вряд ли можно назвать оживленной, но вдруг он начинает форму-

лизовать нечто более чем важное для себя: «Поймите, – продолжал Свистонов, он знал, что глухая ничего не поймет, – искусство – это совсем не празднество, совсем не труд. Это – борьба за население другого мира, чтобы и тот мир был плотно населен, чтобы было в нем разнообразие, чтобы была и там полнота жизни, литературу можно сравнить с загробным существованием». Он повторяет последние слова, охватывает взглядом холмистый пейзаж, и продолжает в крайнем волнении: «Вообразите, – продолжал он, вежливо склоняясь, – некую поэтическую тень, которая ведет живых людей в могилку. Род некоего Вергилия среди дачников, который незаметным образом ведет их в ад, а дачники, вообразите, ковыряют в носу и с букетами в руках гуськом за ним следуют, предполагая, что они отправляются на прогулку. Вообразите, что они видят за каким-нибудь холмом, какую-нибудь ложбинку, серенькую, страшно грустненькую...».

Суть эпизода ясна: вид печальных окрестностей переходит в «видение гробовое», а литература уступает место метафизике. Здесь у внимательного читателя может промелькнуть ассоциация с чем-то, читанным давным-давно у Н.Греча. Перевернув страницу, он читает еще об одной прогулке Свистонова: она оживляется нежным звуком флейты. На флейте играет старенький музыкант, расположившийся со своим инструментом прямо над озером. Его появление удовлетворительно объяснено, но чувство уже читаного – *déjà lu* – усиливается. Наконец, еще через несколько страниц дачники заглядывают в местную кирху и видят не кого иного, как самого токсовского пастора. Тут наше предположение приобретает черты уверенности. По-видимому, автор романа хотел бы, чтобы мы читали главу «Токсово» в контрапункте с соответствующим фрагментом старого романа «Черная женщина»... Правда, было бы большой натяжкой говорить о хорошем знакомстве ленинградской интеллигенции конца двадцатых годов с романом Н.Греча. Для этого нужно было быть человеком начитанным и даже, пожалуй, литературно изощренным. Но Вагинов как раз и был таким человеком – любителем старых книг, душевным другом Бахтина и Кузмина – и по собственному выражению, «гробовщиком» петербургского мифа.

Заметим, что вполне доверять Вагинову в вопросе о пресечении этого мифа все же было бы опрометчивым. Достаточно открыть «Дачную местность» А.Г.Битова – одну из не самых известных, но мастерски написанных вещей здравствующего ныне маститого прозаика, на пометке «11 октября». Читаем о выезде на дачу в Токсово, о вечерней прогулке между холмов, о костре, горящем где-то высоко. А далее, уже на следующей странице, следует приступ страха смерти, и размышлений о смысле жизни...

Суждено ли «токсовскому тексту» продолжиться – сказать пока трудно. Возвращаясь же к XIX столетию, можно заметить, что финская тема звучала в литературе достаточно приглушенно. С точки зрения славянофилов, она недостаточно слилась с русской темой допетровских времен. «На дальнем севере, в гиперборейском крае, / Где солнце тусклое, показываясь в мае, / Скрывается опять до лета в сентябре – / Столица новая возникла при Петре. / Возникнув с помощью чухонского народа / Из топей и болот в каких-нибудь два года, / Она до наших дней с Россией не срослась...». Спору нет, эти строки, которыми Н.Некрасов начал свою «Дружескую переписку Москвы с Петербургом», представляли собою скорее пародию на квасной патриотизм конца 1850-х годов. Но думается, что многие славянофилы согласились бы с заложенной в них едкой иронией по адресу Петра I и его сотрудников. Западники смотрели на финнов под другим углом. Для них этот народ был недостаточно приобщен к началам цивилизации и по сути мало отличался от тяжелой на подъем, закосневшей русской массы. В написанном В.Г.Белинским в 1844 году очерке «Петербург и Москва» дается колоритное описание облика мещанского и купеческого сословий в Москве. Что касается Петербурга, то «здесь они как будто не у себя дома, как будто в гостях, как будто колонисты или заезжие иностранцы. Петербургский немец более их туземец петербургский». В этой цитате можно было бы с известной натяжкой заменить немца

на, скажем, какого-нибудь мастеровитого петербургского шведа – но финн не подошел бы ни в коем случае. В общих чертах такое видение было характерно и для Ф.М.Достоевского – с той естественной оговоркой, что его петербургские романы 1860–1870 годов писались в изменяющемся контексте, под влиянием сближения с идеологией почвенников и противостояния нигилизму.

Вместе с тем, Достоевский был не только и не столько писателем социальным, сколько психологическим, и более того – метафизическим. «Он изучал человеческую личность не в ее „эмпирическом характере“, не в игре видимых причин и следствий, но именно в ее „умопостижимых“, в ее хтонических глубинах, где смыкаются и размыкаются таинственные токи первобытия», – пронизательно заметил в тридцатых годах прошлого века Г.В.Флоровский. Спускаясь в подполья души, писатель наталкивался на пласты, иной раз не до конца явные ему самому, и свидетельствовал о них. К числу таких свидетельств относилась и странная греза Аркадия Долгорукого: «Мне сто раз, среди этого тумана, задавалась странная, но навязчивая греза: „А что как разлетится этот туман и уйдет кверху, не уйдет ли с ним вместе и весь этот гнилой, склизлый город, подымется с туманом и исчезнет как дым, и останется прежнее финское болото, а посреди его, пожалуй для красы, бронзовый всадник на жарко дышащем, загнанном коне?“». Фон для этих слов составляло раннее, холодное, заполненное «сырым, молочным туманом» петербургское утро, одновременно прозаическое и едва ли не самое фантастическое на земле, по словам самого героя. Что же касалось его грезы, то грез на самом деле было три, и о них рассказано подряд. Для лучшего понимания этой конструкции обратимся к началу восьмой главы, первой части вышедшего в 1875 году романа «Подросток»,

Первая греза принадлежала Германну из пушкинской «Пиковой дамы». «Колоссальное лицо, необычайный, совершенно петербургский тип, – тип из петербургского периода!» – пометил в скобках герой Достоевского. Это замечание существенно: оно определяет Петербург как заколдованное место, где такие грезы укрепляются, а в некотором смысле и сбываются. Как мы помним, Германн мечтал о «фантастическом богатстве». Фон его грез также памятен читателю («погода была ужасная: ветер выл, мокрый снег падал хлопьями; фонари светились тускло; улицы были пусты»). Вслед за тем у Достоевского идет вторая, уже знакомая нам «греза о Медном всаднике». Она захватывает не только волю одного литературного героя, но уже целый город с его проспектами и площадями. И, наконец, следует третья интуиция, включающая в «пространство мозговой игры» уже всех обитателей города, вплоть до, может статься, и автора романа: «Вот все они кидаются и мечутся, а почему знать, может быть, все это чей-нибудь сон, и ни одного-то человека здесь нет настоящего, истинного, ни одного поступка действительного? Кто-нибудь вдруг проснется, кому это все грезится – и все вдруг исчезнет». Построенная таким образом цепочка «вложенных» друг в друга мечтаний закрепляет в составе «петербургского текста» весьма давнюю в европейской литературной традиции и чисто метафизическую тему, которую можно условно обозначить как «сон сна». Для нас же существеннее всего, пожалуй, то, что автор не нашел для ее утверждения более зыбкого и призрачного постаменты, чем древнее финское болото... Да, в этом странном рассказе Аркадия Долгорукого Достоевскому удалось выговорить нечто существенное для каждого петербуржца. Видение «исчезающего города» заняло свое место в ряду своего рода формул, подход к которым и способ использования в собственных текстах сразу позволили последующим поколениям наших литераторов определить свое понимание «души Петербурга».

К примеру, в романе Д.С.Мережковского «Петр и Алексей» нет еще Медного всадника, но есть уже город Петра I, набросанный вчерне, в торфе и глине. Приглядываясь к нему, один из героев как будто прозревает: «Вдруг все изменилось. Петербург видом своим, столь непохожим на Москву, поразил Тихона ... все было плоско, пошло, буднично, и в то же время

похоже на сон. Порою, в пасмурные утра, в дымке грязно-желтого тумана, чудилось ему, что весь этот город подымется вместе с туманом и разлетится, как сон. В Китеже-граде то, что есть – невидимо, а здесь, в Петербурге, наоборот, видимо то, чего нет; но оба города одинаково призрачны. И снова рождалось в нем жуткое чувство, которого он уже давно не испытывал – чувство конца». Одна эта цитата дает представление о месте Мережковского в создании «петербургского текста». Относясь к традиции XIX века, от Пушкина до Достоевского, как к канону, он до предела очистил и усилил то, что услышал как «главные мысли» классиков. Получился своего рода компендиум, из которого потом обильно черпали символисты. Наряду с этим, формула Достоевского здесь существенно изменена. Вот как она сокращенно выражена в начале цитированной выше восьмой главы «Подростка»: «Одним словом, не могу выразить моих впечатлений, потому что все это фантазия, наконец – поэзия, а стало быть, вздор...». Не так у Мережковского: тут уже в полную силу звучит тема конца времен. Для символистов и был характерен переход к пониманию Петербурга как форпоста, поставленного на границе не только между культурой и дикостью, но и шире – между историей и хаосом.

К числу таких «формул», подхваченных Мережковским, относится и белая ночь. С недоумением и предчувствием беды вглядывается в нее царевич Алексей: «Царевич прочел надпись в солнечном кругу: Солнце позна запад свой, и бысть ночь. И слова эти отозвались в душе его пророчеством: древнее солнце Московского царства познало запад свой в темном чухонском болоте, в гнилой осенней слякоти – и бысть ночь – не черная, а белая страшная петербургская ночь». С тем, что русские традиционалисты не были знакомы с белой ночью, можно поспорить. Будучи начитан в старой литературе, царевич Алексей Петрович мог припомнить хотя бы известное послание Ивана Грозного монахам Кирилло-Белозерского монастыря, где царь подшучивал над привычными северным жителям белыми ночами: «У вас в Кирилове в летнюю пору не знати (не различить – Д.С.) дня с ночью», – насмешливо писал он. Однако бесспорно то, что Мережковский с особой силой прочувствовал роль белых ночей как сакрального времени Петербурга, равно как и их внутреннюю связь с подпочвой, субстратом города – древним финским болотом. На мистическую природу этого времени, «прозрачного сумрака, блеска безлунного» указывал еще Пушкин, но само слово было найдено Достоевским.

Следующий за «петербургскими романами» Достоевского крупный вклад в понимание «души города» был сделан у нас символистами. Следуя за нашей темой, мы обратимся к творчеству трех подлинных мэтров этой школы, начав с Валерия Брюсова. Как известно, Брюсов был удивительно начитанный человек с задатками подлинного полиглота и культуролога. Открыв том его стихов, читатель не затруднится найти там переложения финских народных песен, стихотворение, обращенное к финскому народу, равно как и циклы стихов, написанных в Карелии. Но вчитываясь в них, он не заметит существенных отличий от подражаний латышским дайнам или каким-нибудь малайским песням. Такое впечатление будет справедливо: Брюсов хотел молиться всем богам и внимать душе любого народа. Тут поневоле вспоминается фраза из старого романа, аттестовавшая образование одного из героев как «скорее блестящее, нежели глубокое». Все это так. Но поверхность брюсовских стихов нередко бывает обманчива, иной раз под ней скрываются настоящие омуты. В один из них можно заглянуть сквозь аккуратные метры и рифмы «сайменского цикла» 1905 года, включенного в состав знаменитого сборника «Stephanos». Сайма – это озеро в Финляндии, как бы запирающее с севера изрядную часть Карельского перешейка. После отделения Финляндии, озеро оказалось по ту сторону границы, поэтому ездить туда из Ленинграда нельзя было. Но для петербургской интеллигенции начала века такие поездки были своеобразным ритуалом. Дело в том, что в 1870 году по Карельскому перешейку была протянута линия Финляндской железной дороги, соединившая Петербург с Выборгом, и шедшая дальше, на Ри-

химяки, а потом и на Гельсингфорс. Ездить на север стало удобно и дешево. Петербуржцы не замедлили оценить это обстоятельство и воспользоваться им. С этого момента Карелия как бы резко приблизилась к Петербургу. Финляндские поэты и писатели смотрели на дело рук железнодорожников довольно косо и послали по его адресу немало проклятий. «*Der vi förut från vilda stränder summo / Till flodens djup, stå kalla badhuslådor...*» («Где прежде мы в речную глубь бросались / Где берег дик – там встал купальный домик»), – так, ядовито и грустно, писала в 1907–1909 годах жившая на станции Райвола (теперь Рощино) Эдит Сёдергран и продолжала перечислять тем же заунывным пятистопным ямбом прегрешения понаехавших из города дачников (перевод наш). Огорчение петербургской шведки можно понять: Карельский перешеек терял исконное своеобразие прямо на глазах. Но местное население в своей массе железной дорогой было решительно довольно: теперь можно было прилично зарабатывать на приезжих, а также на поездках в город для сбыта своих товаров и просто «на вольные хлеба».

Петербургские литераторы осмыслили новое положение на свой лад. Буквально рядом, на расстоянии нескольких перегонов железной дороги, им открылась холодная неосвоенная страна, где не было портиков и лоджий, но были граниты, мхи и озера, где нельзя было осматривать античные монументы с бедкером в руках, но можно было «обрывать нить сознания» и молиться неведомым богам. «Я всегда смутно чувствовал особенное значение Финляндии для петербуржца, и что сюда ездили додумать то, чего нельзя было додумать в Петербурге, нахлобучив по самые брови низкое снежное небо и засыпая в маленьких гостиницах, где вода в кувшине ледяная». Спору нет, Мандельштам писал эти строки уже в постсимволистском контексте (мы процитировали очерк «Финляндия» из книги «Шум времени», вышедшей в 1925 году). Однако описанную им ситуацию следует примерно приурочить к началу XX века. Карельские пейзажи дополнили таким образом облик Петербурга и включились в его мир на тех же правах, что близлежащие пустыни в образ античной Александрии, или окрестные горы – в жизнь средневековой Флоренции. В таком-то настроении и начинает Брюсов сказывать свой цикл «На Сайме»: «Меня, искавшего безумий, / Меня, просившего тревог, / Меня, вверявшегося думе / Под гул колес, в столичном шуме, – / На тихий берег бросил рок». Заметим, что источник вдохновения поэта был достаточно сложен: думать лишь о природе было бы неверно. В одном из стихотворений цикла, поэт говорит о древних героях «Калевалы» и их борьбе за мельницу Сампо. Таким образом, каменные дебри Петербурга и «ласкательный мир Суоми» объединяются общим для них древним мифом. Ведь если не рассматривать петербургскую культуру как вторичную – то есть принять, что она сама составляет себе и античность и классицизм – тогда на роль архаики для нее может претендовать только мир седой «Калевалы». Мы полагаем возможным условно назвать это интуицией «присвоения Финляндии», то есть выборочного включения ее ценностей в «миф Петербурга», чаще всего на правах предыстории.

В общих чертах такая линия была характерна также для цикла поэтических и философских произведений, созданных на берегах Саймы В.С.Соловьевым: «Тебя полюбил я, красавица нежная, / И в светло-прозрачный, и в сумрачный день. / Мне любви и ясные взоры безбрежные, / И думы печальной суровая тень». Так писал, обращаясь к Сайме, в своем милом экзальтированном стиле маститый религиозный мыслитель, сердце которого отнюдь не было спокойно: за десять дней до того, первого октября 1894 года, он закончил текст своего грозного «Панмонголизма». Сайменское же стихотворение было озаглавлено «Последняя любовь», что дало повод к забавному недоразумению. Петербургские журналисты решили, что, приехав на Сайму, Соловьев влюбился в финскую девушку и потерял голову. Сенсация была налицо, и желтая пресса подняла шум. С улыбкой просматривая эти статьи, философ диву давался фантазии столичных щелкоперов, и с притворным смирением отвечал: «Сознаюсь, что подал повод к такому обвинению: нужно выражаться яснее. Если

вдохновляешься озером, то так и говори»... Впрочем, как это нередко случается, наивные люди заметили нечто существенное. Ведь за сиянием глади финского озера философ прозревал лик владычицы мира – вечной Женственности. Некоторые комментаторы указывают на болезненное «эротико-мистическое» напряжение его финляндских стихов.

Соловьев не принадлежал к символистам, но в некоторых отношениях оказал на них известное влияние. Читывал его и В.Брюсов, прослеживается эта линия мысли и в более поздней традиции. Читатель, наверное, припомнил уже начало замечательного стихотворения, написанного О.Э.Мандельштамом 1908 году в Париже (так был датирован беловой автограф): «О красавица Сайма, ты лодку мою колыхала...». Кстати, посылая его матери из Франции, поэт заметил в письме: «Маленькая аномалия: „тоску по родине“ я испытываю не о России, а о Финляндии». Брюсов писал о вечере на Сайме, о лучах закатного солнца, пронизывавших воду как «красно-огненные птицы». Пишет о вечере и Мандельштам, «пьяное солнце» бросает и у него «бесшумные стрелы», зажигающие тихое дно озера. Вспоминается ему и «Калевала», ее старинная «песнь железа и камня о скорбном порыве титана» слышится поэту среди пустынных скал. Напряжение нарастает – и разрешается в конце стихотворения молитвой: «Я причалил и вышел на берег седой и кудрявый, / Я не знаю, как долго, не знаю, кому я молился... / Неоглядная Сайма струилась потоками лавы. / Белый пар над водою тихонько вставал и клубился». Разумеется, Мандельштам читал Брюсова – да и какой петербургский поэт не замирал в эстетическом трансе над страницами сборника «Stephanos». Но речь здесь идет не о заимствованиях, а скорее о череде «карельских откровений», о «сайменском тексте», дополнившем текст петербургский.

В начале творческого пути А.А.Блок ощущал себя поэтом скорее южным. Кое-что здесь шло от реальных фактов биографии, но еще больше – от сознательной ориентации на Пушкина. «Петербург для Пушкина всегда север. Когда он сочиняет стихи, то всегда как бы находится на каком-то отдаленном юге», – заметила А.Ахматова в замечательном очерке «Пушкин и Невское взморье». Блок не мог видеть этого очерка: он был написан в начале шестидесятых годов. Но если бы прочел, то, пожалуй, согласился бы – разве что зачеркнул бы мысленно повтор слова «всегда», слишком женственный для его вкуса. Такая «южная» ориентация начала деформироваться уже на раннем – светлом и серафическом – этапе его творчества, и распалась на следующем – темном и демоническом. «Сейчас пишу тебе так, потому что опять страшная злоба на Петербург закипает во мне, *ибо я знаю*, что это поганое, гнилое ядро, где наша удаль мается и чахнет, окружено такими безднами, такими бездонными топиями, которых око человечье не видело, ухо – не слышало. Я *приникал* к окраинам нашего города, знаю, знаю, что там, долго еще там ветру визжать, чертям водиться, самозванцам в кулаки свистать! Еще долго близ Лахты будет водиться откровение, небесные зори будут волновать грудь и пересыпать ее солью слез, будет Мировая Несказанность влечь из клоаки» (цитируем письмо Блока к Евгению Иванову из Шахматова, 1905). Лирический герой Блока томится в петербургских гостиных, слышит тайным слухом зов из бездны, уходит за сетку дождя, принимает крещение болотной водой и причащается ее тайн. Иной раз кажется, что мы читаем фрагменты какого-то «болотного писания». Если в этом сравнении есть доля правды, то на роль Откровения может претендовать «Ночная фиалка», оконченная весной 1906 года и подведшая черту под многими мыслями того периода. Жанр поэмы определен в подзаголовке как «Сон», и она действительно основана на воспоминаниях о странном сне, пригрезившемся поэту (он сам писал об этом тому же Е.П.Иванову в том же, 1905 году). Но в обоих снах – литературном и реальном – сознание Блока обращалось к одной и той же мокрой и бедной равнине близ Петербурга, где ему привиделось однажды нечто необычайное: «Опустилась дорога, / И не стало видно строений, / На болоте, от кочки до кочки, / Над стоячей и ржавой водой / Перекинуты мостики были, / И тропинка вилась / Сквозь лилово-зеленые сумерки / В сон, и в дрему, и в лень...». Данные в поэме указания

достаточно скупы. Но исходя из них и излюбленных направлений прогулок Блока в то время, это место определяется как северная окраина Петербурга, граничащая с Ланским шоссе или Новой Деревней, с меньшей долей вероятности – дорогой, ведущей дальше на Лахту.

Любимые маршруты Блока вообще важны для понимания его образов: их топография составляет как бы отдельный комментарий к его стихам. Тем не менее, в «Ночной фиалке» поэт отстранился от прямых указаний на место действия. Они появились позднее, в ткани написанных одним духом за летние месяцы 1907 года «Вольных мыслей», и смотрятся как вспышки: «Шувалово – Сестрорецкий курорт – Дюны». Если долго читать стихи «темного периода» и вдруг открыть «Вольные мысли», то чувствуешь как будто в лицо ударил порыв ветра, полного запахом смолы и морской соли. В этих стихах поэт оставляет фантазии, сны и надежды – чтобы помериться силами с беспощадно реальным и жестоким миром. «Если брать по самому большому счету, великая поэзия Блока начинается именно с „Вольных мыслей“», – отметил В.Н.Орлов, и с ним трудно не согласиться. Здесь-то и вырывается на поверхность чистая финская тема: «Моя душа проста. Соленый ветер / Морей и смольный дух сосны / Ее питал. И в ней – все те же знаки, / Что на моем обветренном лице. / И я прекрасен – нищей красотой / Зыбучих дюн и северных морей. / Так думал я, блуждая по границе / Финляндии, вникая в темный говор / Небрityх и зеленоглазых финнов». Любопытно, что «Вольные мысли» можно читать как своего рода путеводитель по станциям Приморской железной дороги. Дорога была частной, ее проложили в конце 1890-х годов. Вокзал был на северной окраине города, в Новой Деревне, неподалеку от популярного ресторана «Вилла Родэ». По одной ветке дороги ездили вдоль северного берега Финского залива, через Лахту в сторону Сестрорецкого курорта и финляндской границы; по другой – в дачное место Коломяги, откуда обычно предпринимались прогулки в Шуваловский парк, или до станции Скачки – посмотреть на бега. У поэта менее сильного, какого-нибудь Бенедикта Лившица или Георгия Бломквиста, и получился бы «поэтический путеводитель». Не то у Блока – реальные приметы мест Карельского перешейка почти теряются при обычном чтении. Чтобы их выделить, нужно специально вчитаться в текст, а еще лучше – самому отправиться на взморье с томиком Блока. Решимся предположить, что и для него ни подлинное место событий, ни содержание «темного говора» финнов не имели решающего значения. Важнее почувствовать себя на границе петербургского мира, наполнить легкие воздухом первобытной вольности, и вернуться обратно, в «железно-серые» дебри. На видимой финской границе поэту открывалась граница мира незримого.

Шли годы, сознанием поэта завладевали другие мысли и голоса. К примеру, в стихотворении «Новая Америка», написанном зимой 1913 года, Блок обратился к мечте о преображении России на пути не духовной, а внешней работы – подъема промышленности, горного дела. В предисловии к поэме «Возмездие», появившемся в 1919 году, он возвращается к этой мечте и подчеркивает: Россия должна превратиться «в новую Америку, в новую, а не в старую Америку». Оглядываясь в стихотворении 1913 года назад, к старой России, поэт ищет точное слово, чтобы определить ее, и находит: это – «убогая финская Русь». Нет сомнения, что с точки зрения адептов «стального скака» она так и выглядела. Конечно, это – совсем другая линия мысли. Но старых, карельских прозрений она не могла вытеснить. В том же 1919 году Блок обратился к ним в очерке «Памяти Леонида Андреева». Очерк не пользуется особой популярностью, и напрасно. Это – шедевр русской прозы, близкий не к аморфным некрологам новейшего времени, но к надгробным речам античных риториков. Движение мысли автора кажется неуверенным и затрудненным: «Любил ли я Леонида Николаевича? – Не знаю. Был ли я горячим поклонником его таланта? – Нет, без оговорок утверждать этого не могу». Последовательность неловких вопросов к себе этим не ограничена – однако на каждый дается отрицательный или уклончивый ответ. Зачем же нужно тогда писать очерк? Затем, что были «одинокое восторженные состояния», в которых писатели перекликались,

были книги, – и был в 1906 году странный осенний вечер. Дата эта, вообще говоря очень интересна: осенью того года Блок как раз закончил работу над драмой «Незнакомка», отделил набело «Ночную фиалку» и собирался с духом для летнего взрыва 1907 года, давшего «Вольные мысли». Чувство города было обострено до предела, слышался и зов финских болот. «Я помню хлещущий осенний ливень, мокрую ночь. Огромная комната – угловая, с фонарем, и окна расположены в направлении островов и Финляндии. Подойдешь к окну – и убегают фонари Каменноостровского цепью в мокрую даль». Эта цепочка фраз по сути ничего не сообщает и не утверждает, она рассчитана на узнавание. Ее подлинный смысл внятен лишь петербуржцу, подошедшему однажды к темному окну, бросившему взгляд в стихию ветра и ливня и ощутившему где-то в глубине души, гораздо глубже дневных мыслей и привычных расчетов, тяжелый зов с севера. Блок даже не дает себе труда связать этот фрагмент с общим течением очерка. Следует несколько упоминаний о беглых встречах с Андреевым, ненужная цитата из его пьесы... В последнем абзаце он возвращается к тому же вечеру: «Мы встречались и перекликались независимо от личного знакомства – чаще в „хаосе“, реже в „одиноких восторженных состояниях“». Знаю о нем хорошо одно, что главный Леонид Андреев, который жил в писателе Леониде Николаевиче, был бесконечно одинок, не признан и всегда обращен лицом в провал черного окна, которое выходит в сторону островов и Финляндии, в сырую ночь, в осенний ливень, который мы с ним любили одной любовью. В такое окно и пришла к нему последняя гостья в черной маске – смерть».

Очерк был напечатан в 1921 году; вскоре же не стало и Блока. На первый взгляд может показаться, что напряженность очерка резко отличается от «Вольных мыслей»: здесь – смерть, там – полнокровная жизнь и творчество. Такое впечатление обманчиво: обе темы сплелись неразрывно, как в белых ямбах 1907 года, так и в очерке 1919-го. Вернувшись к циклу стихов, мы видим, что первое же стихотворение «Вольных мыслей» озаглавлено просто: «О смерти»; проследить эту общность и дальше по тексту не составляет труда. Попросту в стихах финская тема взята в мажоре, в очерке – так сказать, в миноре. Модуляция была существенна, так как она отразила все то, что случилось с Петербургом за прошедшие годы.

По-своему прозвучала финская тема и в творчестве Андрея Белого: мы говорим, разумеется, о романе «Петербург». Одна из побочных линий поручена революционеру Александру Ивановичу Дудкину. Впрочем, побочной ее можно назвать лишь с изрядной долей условности. Дудкин навязывает герою романа «сардинницу ужасного содержания», то есть бомбу для отцеубийства, вокруг которого и обращаются события романа. Революционер состоит в особых отношениях и с медным кумиром основателя Города. В самом начале романа он переходит Неву по Николаевскому мосту и как будто входит в поле притяжения громадной планеты: пейзаж Сенатской площади становится почти неузнаваем. «За мостом, на Исакии из мути возникла скала: простирая тяжелую, покрытую зеленью руку – загадочный всадник... С той чреватой поры, как примчался сюда металлический Всадник, как бросил коня на финляндский гранит – надвое разделилась Россия; надвое разделились и судьбы отечества; надвое разделилась, страдая и плача, до последнего часа Россия». Выбор тона здесь не случаен: последнее предложение представляет читателю основную историософскую идею романа. Тем любопытнее упоминание о «финляндском граните», как-то связанном с надломом российской истории.

В середине романа Медный всадник является к Дудкину в гости: «Посередине дверного порога, из стен, пропускающих купоросного цвета пространства, – склонивши венчанную, позеленевшую голову и простирая тяжелую позеленевшую руку, стояло громадное тело, горящее фосфором. Встал Медный Петр». Сцена пользуется справедливой известностью. Создается впечатление, что новая русская проза достигла здесь пределов выразительности. Менее заметно то, что всего за несколько страниц до того, в главе шестой, явление было предварено визитом другого странного гостя, персиянина Шишнарфнэ. Какой он там

персиянин, дело сомнительное и нечистое: речь идет скорее всего о диаволе собственной персоной. Гость признается, что родом он с юга, но проживает в городе Гельсингфорс: – «Мы и прежде встречались?» / – «Да... помните?... В Гельсингфорсе...». Как не помнить? Молодой и здоровый тогда Дудкин развивал мысль о крушении гуманизма. Что-то сложилось неправильно, подуло сквозняком из межпланетных пространств. Александр Иванович почувствовал, что увлекается куда-то для совершения некоего гнусного акта – надо думать, для посвящения на шабаше. Был ли акт, как довелось вернуться, и что это было – вопросы, на которые он отвечать даже самому себе не любил. Но с того времени и начались его странные видения – или, как говорил сам Дудкин, «внушенная мозговая игра». «Напоминание о Гельсингфорсе подействовало; невольно подумал он: – „Вот отчего все последние эти недели твердилось без всякого смысла мне: Гель-син-форс, Гель-син-форс...“».

И, наконец, в самом конце романа уже сошедший с ума Дудкин отправляется убивать провокатора. Его гонит сквозь кусты и туман демонический Всадник «с купоросного цвета плащом» и властно поднятой десницей. Провокатор живет на даче. Обстановка куда как знакома петербуржцу: мелкое песчаное побережье Финского залива, соленый ветер и контур города на горизонте. Убив провокатора, Дудкин усаживается на его тело в позе Медного всадника, важно глядя в пространство и вытянув руку с липкими от крови ножницами. Так его и нашли утром. Этот финал обычно трактуется как приговор российскому революционному движению – а может быть и «петербургскому периоду» в целом. Менее ясно, к чему здесь финская тема.

Прежде всего, при всей их благонамеренности, финляндские власти пользовались широкой автономией, что позволяло им ограничивать деятельность царских сатрапов. В сочетании с близостью к столице Российской империи, это предоставляло революционерам большие удобства, которыми они охотно пользовались. К примеру, на одном из собраний, организованных ими в Финляндии во время нарастания первой русской революции, впервые встретились и познакомились товарищи Ленин и Сталин. Встреча произошла в 1905 году. Тогда же, с середины лета до наступления холодов, в Финляндии скрывался другой «гений революции», Лев Давидович Троцкий. В главе 13 его мемуаров есть замечательное описание жизни в полупустом загородном санатории «Rauha» (то есть «Покой»), затерянном среди холмов и озер, которые покрывал саван раннего снега. «Ни души, ни звука. Я писал и гулял. Вечером почтальон привез пачку петербургских газет... В тишине отеля шорох газет раздавался в ушах, как грохот лавины. Революция была в полном ходу. Я потребовал у мальчика счет, заказал лошадей и, покинув „Покой“, поехал навстречу лавине. Вечером я выступал уже в Петербурге, в актовом зале Политехнического института». Итак, утром – в финской глуши, вечером, если это понадобится – в гуще петербургских событий. На следующий год в Финляндию бежала часть депутатов распушенной государем Первой Государственной думы. Едва доехав до Выборга, они обратились к российскому народу с призывом не платить налогов, в армии не служить и вообще царю не повиноваться... Вследствие многочисленных фактов такого рода, петербургские обыватели стали смотреть на Финляндию как на гнездо противоправительственных сил, откуда и соответствующая линия романа Андрея Белого.

В романе много политики, но это – не политический памфлет. Большое влияние на его концепцию оказало антропософское учение, вошедшее в моду в России в 1910-х годах. Эта доктрина была разработана крупнейшим европейским оккультистом Рудольфом Штейнером. Андрей Белый был представлен ему и увлекся его учением в начале 1912 года – то есть именно тогда, когда особенно напряженно работал над текстом романа «Петербург». Весной того же, 1912 года, Штейнер пожелал приехать в Россию. По ряду причин Петербург отпадал, и в силу уже знакомой нам логики цикл его лекций решено было провести в Гельсингфорсе. Группа из двенадцати русских учеников выехала туда на Пасху. Штейнер был сдержан и даже угрюм. Он пожелал прочесть для русских слушателей особый доклад о

судьбе их страны, которой он придавал исключительное духовное значение. Штейнер видел, что имперский период заканчивается, и страна стоит на пороге хаоса и мрака. Он предостерегал русских слушателей от двух соблазнов – материализма Запада и мистики Востока, уже вступивших в сражение за душу России. Все эти мысли действительно принадлежат основной историософской линии «петербургского романа» Андрея Белого.

Тем более важно то особое место, которое Р.Штейнер уделил финской духовности в своих гельсингфорсских лекциях. Ей была посвящена отдельная беседа, что явно вышло за рамки долга вежливости приглашенного лектора по отношению к устроителям. Штейнер остановился на самостоятельном характере финской мистики, ее связи с «духом места» и отражении в рунах «Калевалы». Следует полагать, что присутствие такой сильной традиции в непосредственной близости к Петербургу могло вызвать у русских слушателей догадку о возможной связи между ними. Здесь нужно заметить, что антропософия возникла на базе более ранней доктрины, а именно теософии, основанной в прошлом веке нашей соотечественницей Еленой Петровной Блаватской. Теософия смотрит на историю человечества как на последовательную смену ряда рас. При этом оккультная мудрость передается мудрецами предыдущей расы избранным ученикам последующей. По счету Блаватской, сейчас идет пятая «корневая раса» (root-race), к ней принадлежит и русский народ. Что касается мудрости предыдущей, четвертой расы, а говоря точнее, ее последнего, седьмого подвида, то ее тайны сохранили в неприкосновенности до наших дней мудрецы таких народов, как тибетцы, монголы, малайцы – и почему-то венгры с финнами. Отсюда следует особая роль, принадлежащая в современном оккультизме учителям, происходящим с тибетских гор, – но также и из финских болот.

Как видим, финляндская тема в романе Андрея Белого может рассматриваться и под другим углом зрения, вполне далеким от какой-то политики или истории в общепринятом понимании этих слов. Есть и другие ракурсы. Под одним из них поездку революционера Дудкина в Гельсингфорс можно видеть как своего рода «паломничество на север». Правда, последствия такового оказались разрушительными, если не сказать жуткими. Но тут уж все дело зависит от чистоты души и благородства помыслов человека, дерзнувшего пойти «путем на север». В целом же, взглянув через призму «финляндской» интуиции на творчество трех виднейших символистов, мы увидели, как она приводила их к разным, но всегда существенным прозрениям о «душе Петербурга».

Гибель старого Петербурга поразила воображение писателей и поэтов. Тем более любопытно, что некоторым из них она представилась как запоздалая месть древнего финского болота. Обратимся к написанному в 1922–1929 годах «Ленинграду» Эдуарда Багрицкого. Взору поэта открывается начало Петербурга, железная воля Петра – и тела бесчисленных жертв, сваленные в чухонское болото, едва ли не под сваи, на которых встал город. На поверхности кипела жизнь, возводились дворцы и набережные, а в топи шел своего рода алхимический процесс, болото как будто собирало злую волю покойников, подвергало ее очищению и возгонке. Пришло время – и она вырвалась наверх. Вот эти строки: «Но воля в мертвецах жила, / Сухое сердце в ребрах билось, / И кровь, что по земле текла, / В тайник подземный просочилась... / И финская разверзлась гать, / И дрогнула земля от гула, / Когда мужичья встала рать / И прах болотный отряхнула». Сходный мотив встречается и у поэта совсем другого унастроения и творческой судьбы – Николая Агнивцева. Примерно в то же время, в 1923 году, он выпустил в свет сборник «Блистательный Санкт-Петербург», где есть любопытное стихотворение «Петр 1-й». Диспозиция нам знакома: придя на финское болото, царь повелел поднять из его грязи гранитный парадиз. Город был построен, но на костях, точнее, на «напружиненных спинах» тысяч безвестных мужиков. Древнее финское болото бережно сохранило их ожесточение. Отсюда финал стихотворения, ироничный и жуткий:

«И вот теперь, через столетья, / Из-под земли, припомнив плети, / Ты слышишь, Петр, как в эти дни / Тебе ауют они».

Сродство вдохновения обоих поэтов очевидно, равно как и общность их литературного источника. Конечно же, это – «Миазм» Якова Полонского, стихотворение, пользовавшееся у нас громкой известностью, и вызвавшее не одну истерику на литературных вечерах. Сюжет его памятен читателю. У кого не замирало сердце при описании дома на Мойке с его налаженным бытом, болезнями хозяйского сына, волнениями самой барыни – и, наконец, явившимся ей мужичонкой, бившим сваи на этом месте при основании Петербурга. На его костях был поставлен роскошный дом, его-то вздох и придушил ребенка. Стихотворение написано в 1868 году, и у нас было принято читать его все больше в народническом духе. Между тем тут есть метафизика города, и достаточно непростая. Полонский говорит просто о болотах, никак далее не определяя их принадлежность. Преемники поэта высветляют его интуицию – для них это древнее финское болото. Конечно, для «петербургского текста» это – частность, но чуткому уху она говорит не только о прошлом, но и о будущем.

Прошли годы, отшумели две финских войны, расцвела и увяла политика «финляндизации»... Северная граница, проходящая поблизости от Петербурга, снова стала проницаемой. Через нее в Петербург снова поехали предприниматели, что неудивительно. Занятнее то, что за ними последовали люди свободных профессий, привлеченные прежде всего временной дешевизной жизни. На этот факт обратил внимание в одном из своих интервью 1993 года директор новооснованного Института Финляндии в Петербурге Ю.Маллинен. Напомнил он и о давних традициях финско-российских связей: «Из строителей Исаакиевского собора 20 процентов были финны. Очень многие ювелиры у Фаберже были финны. Все петербургские трубочисты и молочники были чухонцы. В цирках финны были силачами и борцами. А на Финляндском вокзале было так много финских железнодорожников, что их детям даже не надо было учить русский язык – они могли общаться только друг с другом. Я очень надеюсь, что колония финнов в Петербурге будет все увеличиваться». На это хотелось бы надеяться и нам. При этом, в словах финского филолога и дипломата замечен один любопытный нюанс. По сути, он говорил о финнах примерно в том же тоне, в каком высказывался бы о немцах, поляках и других инородцах, живших в старом Петербурге. Между тем, финны, в отличие от прочих, были исконно связаны с почвой Санкт-Петербурга. Остается предположить, что разрыв культурной традиции, образовавшийся за последние сто лет, настолько велик и бесповоротен, что он «уравнивал в правах» всех участников событий прошлого, без всякого изъятия.

На этом выводе и следовало бы остановиться, если бы ему не противоречил весь ход наших раздумий. Особенность метафизики и состоит в том, что она оперирует «сверхслабыми», далекими влияниями, легко преодолевающими пропасть столетий. Иной раз может показаться, что сама память о прошлом изгладилась – но тогда в «шуме времени» появляется новый тон, продолжающий давно забытую мелодию. Об этом поневоле вспоминается при чтении одного из ахматовских стихотворений, помеченного 1956 годом, которое заключено под номером 10 в цикле «Шиповник цветет». Подзаголовок гласит: «Из сожженной тетради», а начинается оно так: «Пусть кто-то еще отдыхает на юге / И нежится в райском саду. / Здесь северно очень – и осень в подруги / Я выбрала в этом саду». Как видим, лирическая героиня Ахматовой оставляет покой юга ради того, чтобы принять тяготы и прозрения «пути на север» – реального, но также метафизического. В следующем четверостишии, она выговаривает в нем нечто продуманное и важное: «Живу, как в чужом, мне приснившемся доме, / Где, может быть, я умерла, / Где странное что-то в вечерней истоме / Хранят для себя зеркала». Чей взгляд виделся в вечерних потемневших зеркалах героине? Чье потаенное присутствие наложило свою печать на эти замедленные амфибрахии?

Как ни удивительно, но мы можем дать предположительный ответ на поставленные вопросы. Черновик стихотворения сохранился и был опубликован. Открыв синий томик «Библиотеки поэта» (1977) на странице 413, мы не найдем строк «... Где странное что-то в вечерней истоме», и так далее. Вместо этого там стоит вот что: «... И, кажется, тайно глядится Суоми / В пустые свои зеркала». Так вот чей взгляд встретила в зеркале героиня Ахматовой осенним карельским вечером... По-видимому, это указание на место действия существенно для понимания замысла автора. Ведь если упоминание Суоми-Финляндии в беловую рукопись не попало и осталось известным только специалистам, то пометка «Комарово» в конце стихотворения была включена в канонический текст и воспроизводилась с ним во всех последующих изданиях цикла. Между тем, Комарово – известное дачное место на Карельском перешейке. До войны тут был финский поселок Келломяки.

Теперь можно вернуться и к самому началу стихотворения. Ему предпослан эпиграф – «Ты опять со мной, подруга осень!» Указан и автор – Иннокентий Анненский. При беглом чтении, отсылка к творчеству прославленного петербургского поэта утрачивает свой вес. Между тем она была принципиально важна для Ахматовой. «Когда мне показали корректуру „Кипарисового ларца“ Иннокентия Анненского, я была поражена и читала ее, забыв все на свете», – отметила поэтесса в краткой, всего в несколько страниц, автобиографии, написанной в 1965 году и вместившей лишь самые важные события жизни. Из сборника «Кипарисовый ларец» и взята интересующая нас строка эпиграфа. Как известно, текст сборника разделен на тройки стихотворений, связанных общим настроением – «трилистники». Один из них – «Трилистник осенний» – и начинается этими словами: «Ты опять со мной, подруга осень, / Но сквозь сеть нагих твоих ветвей / Никогда бледней не стыла просишь...». Мерные строки падают одна за другой, погружая читателя в царство осени. Следующее стихотворение трилистника лишь углубляет это настроение, подводя к третьему, завершающему всю композицию – «То было на Валлен-Коски». Кто же не помнит эту прославленную балладу, сравнимую лишь с блоковской «Незнакомкой», однако гораздо более трезвую и безнадежную, кто не повторял ее первых строк: «То было на Валлен-Коски, / Шел дождик из дымных туч, / И желтые мокрые доски / Сбегали с печальных круч...»

Валлен-Коски – это водопад на реке Вуоксе. Дело, стало быть, происходило на севере все того же мокрого, бедного и прекрасного Карельского перешейка. Такое прямое указание на северную, варварскую природу не вполне характерно для классициста Анненского, влюбленного в мягкие очертания теплых стран романского мира. Тут важно указание на неожиданно острое чувство, пронзившее сердце поэта на скользкой смотровой площадке у водопада. Поездка туда была обычной для петербуржца, обычным было и развлечение – сноровистый финн бросал в водопад деревянную куклу. Погружаясь в ледяные струи водопада, она ныряла в черную бездну, всплывала ниже по течению и снова попадала в руки прислужника: «...Мы с ночи холодной зевали, / И слезы просились из глаз; / В утеху нам куклу бросали / В то утро в четвертый раз. / Разбухшая кукла ныряла / Послушно в седой водопад, / И долго кружилась сначала, / Все будто рвалась назад / Но даром лизала пена / Суставы прижатых рук, – / Спасенье ее неизменно / Для новых и новых мук». Получив свои несколько монет, финн снова тащил куклу вверх и ввергал ее в водопад. «Чухонец-то был справедливый, / За дело полтину взял», – безразлично отметил приезжий петербуржец, намеревавшийся развлечься, а теперь не знавший, как справиться с нахлынувшими мыслями.

Должно быть, лирический герой Анненского возвращался с Вуоксы в совсем другом настроении, чем ехал туда. Сравнение бесконечных и однообразных приключений чухонской куклы с «дурной бесконечностью» собственной жизни напрашивалось само собой... Таким образом, продвигаясь вглубь текста как Анненского, так и Ахматовой, мы ощущаем сначала оцепенение осени, затем – близость «пути на север» и, наконец, смутный, но сильный метафизический порыв, пришедший из глубины карельских сумерек. Этот спокойный

холодный взгляд, привидевшийся одному поэту в пустом зеркале, а другому – в брызгах водопада, знаком не одному петербуржцу. Он принадлежит одному из духов-покровителей Города, неблизкому, но в общем благосклонному к его обитателям. Почувствовав его приближение, уместно будет поклониться ему с почтением и благодарностью, добром поминая финскую почву Петербурга.

Голос камней

Домик Петра – или, говоря на старинный лад, «первоначальный дворец» – сохранился до наших лет, разве что немного врос в землю, покосился, да невские волны плещутся теперь гораздо дальше от его стен, чем три века назад. Открыв любой путеводитель, мы прочтем, что он был срублен солдатами-плотниками из сосновых тесаных бревен всего за три дня, скорее всего с 24 по 26 мая 1703 года, и представляет собой, таким образом, старейшее гражданское сооружение города. Так говорит история – но миф с нею расходится. По старому петербургскому преданию, домик Петра представляет собой переустроенную чухонскую хижину. Следы его можно обнаружить уже в собрании «Подлинных анекдотов о Петре Великом», собранных Яковом Штелином по горячим следам, нередко по материалам расспросов непосредственных участников событий. В анекдоте под номером 60, Штелин поместил: «В 1703 году начал он в самом деле полагать основание сего города с крепостью на одной стороне Невы, и Адмиралтейством на другой. Он не нашел в сем месте ничего, кроме одной деревянной рыбацкой хижины на Петербургской стороне, в которой сперва и жил, и которая поныне еще для памяти сохранена и стоит под кровлею, утвержденною на каменных столбах». Конечно, Штелин был профессиональный мифотворец, «профессор аллегорий». Его свидетельство следует принимать с поправкой, *cum grano salis*. Однако оно соответствовало неясному, но устойчивому образу, сложившемуся в сознании петербуржцев. Недаром чуткий к истории А.С.Пушкин не нашел возможным вполне от него отказаться. В подготовительных текстах к «Истории Петра Великого» он поместил под 1703 годом следующее замечание: «В крепости построена деревянная церковь во имя Петра и Павла, а близ оной, на месте, где стояла рыбацкая хижина, деревянный же дворец на девяти сажнях в длину и трех в ширину, о двух покоях с сенями и кухнею». Здесь получается, что домик был выстроен петровскими плотниками заново, но на старом фундаменте. В итоге получается компромиссный вариант, примиряющий историю и предание.

Другое, также весьма раннее предание сохранено в рукописи «О зачатии и здании царствующего града Санктпетербурга», изданной современным петербургским историком Ю.Н.Беспярых. Для текста, составленного, по всей видимости, при непосредственном участии Петра Великого, характерны не только близость ко времени и месту описываемых событий, но и повышенный интерес к метафизике. Рукопись начинается с описания закладки Петропавловского собора 14 мая 1703 года. Точнее, речь идет о первоначальной деревянной церкви; сам же собор начали возводить из камня по проекту Д.Трезини в 1712 году. Сразу же после того Петр I перешел через протоку (надо думать, через нынешний Кронверкский пролив по направлению Иоанновского моста), и пошел к будущей Троицкой площади. «По прешествии протока и сшествии на остров изволил шествовать по берегу вверх Невы реки и, взяв топор, ссек куст ракитовой, и мало отшед, ссек второй куст, и сев в шлюбку, изволил шествовать вверх Невою рекою к Канецкой крепости». В авторском примечании к тексту уточнено, что на месте первого куста была поставлена Троицкая церковь, а на месте второго – «первой дворец», то есть Домик Петра I. Историческая достоверность этого рассказа может быть подвергнута сомнению. По сохранившимся документам, как раз в то время, с 11 по 20 мая, Петр I мог вообще отсутствовать. Однако же метаисторические ориентиры расставлены безошибочно. Троицкая церковь стояла на центральной площади петровского Петербурга, к

ней перешло звание первенствующего собора новой столицы после начала каменных работ в церкви Петра и Павла. В Троицкой церкви проводились и самые торжественные службы, к примеру церемония празднования Ништадтского мира 1721 года. Что же касалось Домика Петра I, то он довольно рано стал объектом своеобразного светского культа. «Се храмина, чертог законов, / Отколе боголепный глас / Решал судьбину миллионов ... Отколь престолом, – царствам, – мне, – / Векам – твердились уставы!»... Мы взяли приведенные строки из оды Семена Боброва на столетие основания Санкт-Петербурга. Схожие мысли высказывались и до него – к примеру, в силлабической «Петриде», написанной Антиохом Кантемиром в 1730 году.

Цитирование легко продолжить: в глазах читателя зарябило бы тогда от скипетров, мортир и лавровых венков. За этим легко было бы забыть о раковых кустах, срубленных Петром I на месте будущих достопримечательностей. Но, сделав так, мы допустили бы некоторую поспешность. Ведь это нашему уму ракета ничего не говорит. В воззрениях же финнов, издревле населявших невские берега, она была священным растением и играла немалую роль при устройстве места. Ракета упоминается в числе очень немногих растений в знаменитой второй руне «Калевалы», повествующей о сотворении деревьев, травы, злаков. Вот как там сказано: «На горах он сеет сосны, / На холмах он сеет ели, / На полянах сеет вереск... / На святых местах – рябину, / На болотистых – ракету (raiat maille raikkahille)». Сведущие люди из числа финнов, сошедшихся посмотреть на закладку фортеции, наверняка припомнили бы что-либо в этом роде и должны были сделать вывод, что ракета выбрана со знанием дела и к месту. Возможно, они добавили бы, что рябина или, скажем, сосна в церемонии основания были бы тоже уместны. Вернувшись к тексту нашей рукописи, мы с удивлением нашли бы там несколько ниже и сосну, причем в весьма интересном контексте.

Легенде о сосне предпослан своего рода пролог, приуроченный к 1701 году – то есть еще к шведским временам. В ночь под Рождество, на месте будущего Петербурга показался чудный свет. Сошедшиеся местные жители, никак иначе не определенные, увидели, что одна из ветвей мощной сосны пылает ярким пламенем. Точнее, огонь стелился по суку, как бы от множества прикрепленных к нему воцаренных свечей. Сук решено было рубить. Поскольку он был высоко – около двух сажен, то есть более 4 метров от земли – сняли с топориза топор, насадили его на жердь и стали рубить. После того как на суку образовалась глубокая зарубка, чудесный свет угас, видение прекратилось, а туземцы разошлись по домам в великом сомнении. В следующем абзаце, читатель переносится сразу в 1720 год, к основному событию легенды. В городе начинается наводнение. Местные жители – наконец-то сказано, что это «чухонцы», – пускают слух, что вода может дойти и до памятной зарубки. Тогда к сосне прибывает Петр I с солдатами Преображенского полка, осматривает сук и велит сосну срубить, чем «оное сомнение и уничтожилось». В тексте подчеркнуто, что сосну свалили именно по приказу и в присутствии самого царя, что пень сосны и доныне видим близ церкви образа Казанской Божией Матери (то есть на северной оконечности той же Троицкой площади, ближе к Малой Дворянской улице), и что к поваленной сосне приходили те самые чухны, которые сделали зарубку в 1701 году. Сразу же после этого указывается, что в следующем, 1721 году, Петр I принял титул императора, а Россия вошла в число мировых монархий. Принятие титула произошло в Троицкой церкви, стоявшей там же, на Троицкой площади. Так завершается эта странная история, говорящая нечто невнятное, но, очевидно, существенное о чухнах, Петре I и его новооснованном парадизе. Любопытно, что в корпусе графики раннего Петербурга сохранился рисунок пня «заповедной сосны» на Троицкой площади, выполненный художником Ф.Васильевым.

Для понимания легенды нужно учесть, что она не стоит в местных преданиях особняком. Похожее предание приведено в книге известного нашего краеведа XIX века М.И.Пыляева применительно к Пулковским высотам: «На этом месте, как говорит предание, после

наводнения в Петербургском крае, Петр шутя сказал: „Пулкову не угрожает вода“, но когда на его слова живший, будто бы, на мызе чухонец ответил царю, что старый дед его помнил наводнение, в которое вода доходила до ветви дуба, стоявшего неподалеку отсюда, близ подошвы горы, то Петр сошел к тому дубу и топором отсек его ветвь». Сходство обоих преданий – в том, что Петр I утверждает свою столицу, совершая некоторую, почти магическую операцию над местным священным деревом. Наше предположение подтверждается материалами фольклористов, отметившими постоянно встречающиеся в преданиях нашего края, описывающих основание «культовых объектов», три устойчивых, расположенных последовательно составляющих: обнаружение священного дерева («у русских, карелов, вепсов – это сосна, береза») – его рубка – образование нового культового объекта, чаще всего содержащего «икону, на которую переносится функция более архаичных атрибутов обряда» (Н.А.Криничная). Различие между сосной и дубом было, конечно, существенным, но в некоторых местных обрядах могло отходить на задний план. С этим согласуется и одно место из девятнадцатой руны «Калевалы», где во время шаманского поединка герой взлетает «на большие ветви дуба, / на сосну с густой верхушкой».

В собрании Пыляева есть и еще одно предание, связывающее Петра I и сосны. Оно связано к урочищу Красные Сосны, расположенному на берегу Невы неподалеку от Шлис-сельбурга. Как рассказывали местные жители, в старину тут была священная роща, где язычники поклонялись финским божествам Юмале и Перкелю. Проходя мимо рощи походом, в ней не преминул заночевать шведский полководец XVI века Понтус Делагарди, а через столетие с лишним – и сам Петр I. Ночлег их окончился по-разному. Шведу приснилось, что дух-покровитель рощи сел ему на шею в виде огромной сосны и попытался придушить. Легенда рассказывает, что, страхнув наваждение, Понтус поспешил дать приказ к отступлению. Что же касалось Петра, то после ночлега он со свежими силами пошел на Ниеншанц, взял его и основал Санкт-Петербург. В память об этом ночлеге местные жители позднее поставили в роще скромный гранитный монумент. Место сосны, срубленной на Троицкой площади Петербурга, также не затерялось, но было включено в сетку сакральных координат новой столицы. Ведь в построенной тут церкви хранилась чудотворная икона Казанской Божией Матери, считавшейся покровительницей дома Романовых. Перемещение ее в Казанский собор закрепило сдвиг городского центра на левый берег.

Размышляя над образом света на сосне, стоит опять обратиться к «Калевале» – а именно, к древней руне 47, повествующей о похищении светил с неба. Точнее, дело было так. Герой затеял игру на кантеле, а привлеченные волшебными звуками светила сошли с неба и расселись на священных деревьях: «Из избы тут вышел месяц, / На кривую влез березу, / Вышло солнышко из замка, / На сосновой ветке село, / Чтобы кантеле послушать / И ликуя восторгаться». Здесь их и подстерегла редкозубая, как ее неодобрительно аттестует руна, хозяйка Похьёлы, прибрала к рукам и унесла к себе, в страну северных колдунов, чтобы запереть в скале, где «хлебают сусло змеи, пиво пьют в скале гадюки». На землю падают мрак и холод. Для того, чтобы вернуть светила на прежние места, героям Калевалы придется потрудиться. Отложив накликавшее беду кантеле, Вяйнямёйнен выходит в темноту, спускает лодку на воду и плывет по Неве-реке: «По Неве-реке поплыли, / По Неве вокруг мысочка». Все это есть и в оригинале: «Soutelevat, joutelevat / ympäri Nevan jokea, / Nevan nientä kiertelevät».

Усилия героев многообразны. Так, многомудрый кузнец Ильмаринен решает выковать искусственные светила: месяц – из золота, а солнце – из серебра. Сделав это, он пытается пустить их на небо уже знакомым нам способом: «Кверху снес их осторожно, / Высоко он их поставил: / На сосну отнес он месяц, / На вершину ели – солнце». Как видим, тут, в руне 49, на сосне помещается уже месяц, а береза заменена на ель. Это неудивительно; обратившись к вариантам руны, мы нашли бы и другие версии рассказа. Однако мотив чудесного света на

священном дереве встречается достаточно регулярно. Есть в рассказе о похищении светил и мотив наводнения, точнее потопа, доходившего до высоких деревьев. На особую точность в таких делах претендовать не приходится. Но основываясь на тексте «Калевалы», мы можем взглянуть на знамение 1701 года глазами местных финнов. Надо думать, что, глядя на чудесный свет, распространявшийся с ветки сосны, или слушая рассказ об этом у очага, они долго качали головами, прищуривали глаза и наконец заключили бы, что древняя магия вернулась на берега Невы. Нужно готовиться к великим испытаниям и к «обновлению времен».

Шли годы. Памятник основателю города был установлен на левом берегу Невы, на Петровской площади – или как писали тогда, «на самом приятнейшем сему императору месте». Формальным поводом торжественного открытия памятника был столетний юбилей вступления Петра на престол (1782). Памятник получился на удивление простым и лаконичным. Тем большее впечатление на современников и потомство произвела каждая его деталь. Прежде всего, поражала идея бросить под копыта коню целую дикую скалу, служащую и поныне постаментом: «Нерукотворная здесь Росская гора, / Вняв гласу Божию из уст Екатерины, / Пришла во град Петров, чрез Невские пучины / И пала под стопы Великого Петра». Так писал в одной из своих «Надписей к Камню-грому» современник создания монумента, небесталенный Василий Рубан. «Алтарный камень финских чернобогов», – мрачно поправил его через полтора столетия другой наш поэт, Максимилиан Волошин. Действительно, найденный в лесу близ Конной Лахты, в двенадцати верстах к северу от Петербурга, Гром-камень был в древности расколот молнией, и с тех пор пользовался суеверным почтением местного населения. Слова об алтарном камне проницательны еще и потому, что культ коня и камня был с древних времен присущ именно ладожскому ареалу. Мы говорим прежде всего о кургане вещего Олега в Старой Ладоге и обо всем круге преданий, к нему относящихся. «Алтарные камни», в жертву на которых (или которым) могли приноситься кони, отмечены и в других местах нашего Севера. Одним из таких мест был знаменитый «Конь-камень» на ладожском острове Коневец. Когда на остров пришли монахи, чтобы основать здесь знаменитый впоследствии монастырь, они совершили молебен у страшного камня, который и сам был похож на конский череп, чтобы изгнать из него бесов. Как гласило народное предание, записанное в середине XIX века, бесы тогда обратились в стаю воронов, и с превеликим шумом перелетели на другой край Карельского перешейка – а именно, к Выборгскому берегу Финского залива, и обосновались тут в губе Чертова Лахта, где остались до наших дней.

Разработка и воплощение идеи Медного всадника детально описаны в научной литературе. Ход работы над памятником не позволяет предположить интереса к местным преданиям, тем более основательного знакомства с ними ни у хитрого Ласкари, ни у заносчивого Бецкого, ни у самого Фальконета. Однако конечный облик монумента удивительно точно соответствует старейшей традиции нашего края, и в этом качестве был принят простым народом. Как свидетельствуют фольклористы, крестьяне нашего Севера без особых колебаний стали переносить легенды о всаднике, коне и камне на образ Медного всадника, или скорее сплавлять их воедино. Не обошлось, конечно, и без изменений. Так, змея играет в общей композиции монумента довольно скромную роль. Народ же, напротив, этой самой змеей заинтересовался и стал уделять ей немалую, почти магическую роль в своих поверьях. В народе говорили, что когда надменный всадник влетел на скалу и совершил было решающий скачок, змея охватила ноги коня (в другом варианте – его хвост) и остановила движение. Всадник рванулся – и окаменел. Вся группа осталась стоять на скале и по сей день. Обратившие внимание на эту ветвь предания фольклористы справедливо отмечают, что мотив окаменения – еще одна примета древности: обычно он связан с образом прародителя-первопредка.

Здесь возникает еще один круг ассоциаций, на этот раз уже финно-угорского происхождения. В шаманизме народов этого корня змея могла нередко играть роль «духа-помощника».

Это значит, что в нужный момент камлания змея (надеже же, ее шкурка или изображение) оборачивалась конем, на которого шаман вскакивал, чтобы отправиться в дикую скачку по пространствам «нижнего мира». Носители этой традиции (или скорее, ее наследники) жили повсеместно вокруг тогдашнего Петербурга; кое-где их можно встретить и теперь. Конечно, исконный шаманизм претерпел у них с ходом времени значительные изменения. К примеру, шаманы могли уступить место знахарям-колдунам, имевшим обыкновение зашивать в свой пояс змею. Обереги такого рода зафиксированы, в частности, в карельской магической культуре, общие контуры которой реконструировал ряд авторов – к примеру, Н.А.Лавонен. Однако сочетание коня и змеи осталось. В середине XIX века фольклористы с удивлением обнаружили к югу от Петербурга, в окрестностях Мартышкино, руну, где герой вскочил на жеребца, хлестнул его плеткой, а тот заиграл и завился гадюкой. Даже не зная финского языка, можно оценить удивительно удачную, «шипящую» звуковую инструментовку стиха: «Lōi ruosalla oroja / Oroī kuynä kääntelisi». Нелишне будет заметить и то, что в данном случае герой отправляется выручать пропавшие с неба светила. Этот мотив нам тоже как будто встречался... Цитированные строки отнюдь не единственны в своем роде, у них есть свои варианты и параллели. Поэтому нельзя исключить, что какой-нибудь скромный финский крестьянин, поспешающий по своим делам в Петербурге прошлого века, не ахнул тихонько при виде Медного всадника, не остановился около него, и не прошептал нараспев с детства запомненную руну о дивном коне-змее: следы такого восприятия как будто не чужды местному фольклору.

Довольно рано в среде петербуржцев сложилось предание о последней болезни Петра Великого. Ее связывали с тем, что осенью 1724 года царь спасал утопавших в Лахтинском заливе, сильно простудился и умер. Достоверность легенды сомнительна, иначе ее непременно оценил бы и использовал в надгробном слове такой опытный пропагандист как Феофан Прокопович. Историки медицины считают причиной смерти скорее всего «водяную болезнь» – то есть, говоря современным языком, уремию. Но логика мифа по-своему убедительна. Достаточно вспомнить, что над Лахтинским побережьем царил вросший в землю Гром-камень – и рассказ о великодушии монарха превратится в миф об очередном жертвоприношении героя на камне. Сколы первоначального монолита лежат близ берега Лахтинского залива и по сей день (само его название представляет собой забавную тавтологию, потому что «lahti» по-фински и значит залив)... В любом случае, с установкой Медного всадника гений-покровитель Петербурга обрел своего кумира, а основание города было завершено.

Камни из финских каменоломен нашли себе применение при строительстве многих зданий и набережных Петербурга. Однако о признаках «финского акцента» в архитектурном тексте Петербурга можно говорить лишь применительно к гораздо более поздним временам – а именно, к эпохе «северного модерна». Наткнувшись на здание этого стиля, сперва замечаешь грузные, расплывающиеся в неярком свете питерских сумерек объемы неопределенно-серого или коричневатого цвета. Затем глаз скользит, следуя измененным пропорциям суженных или расплюснутых окон и дверей, удивительно хорошо приспособленных к капризам нашей погоды. Лишь после того выступают стилизованные рельефы в виде всякой болотной и лесной живности и нечисти, удобно расположившейся в точках напряжения архитектурных конструкций, как бы сливаясь с поверхностью фасада, грубо сработанной из гранита или облицовочной штукатурки. Хороший пример представляет знаменитый «дом Угрюмовых», что на Стремянной, дом 11.

В воспоминаниях о своем петербургском детстве М.В.Добужинский заметил, как приятно было мимоходом погладить по носу страшную голову Медузы Горгоны, проходя с папашей мимо низкой ограды Летнего сада со стороны Инженерного замка, а то и храбро сунуть пальчик в ее грозно оскаленный рот. На фасадах «северного модерна» не было масок героев

античных мифов, но были изображения полусказочных обитателей наших северных дебрей – всяческих змеек, рыб, но почему-то в первую голову филинов, вечных филинов и сов, ставших прямо-таки излюбленным признаком нового вкуса. К радости питерской детворы, они навсегда осели на стенах домов, построенных в начале XX века. По сути, здесь был найден архитектурный образ, позволявший переносить образы архаических северных преданий прямо на стены стильных, электрифицированных домов в самом центре Петербурга. Историки зодчества – к примеру, Б.М.Кириков – определенно говорят о родстве нашего «северного модерна» с поисками архитекторов Финляндии и скандинавских стран. Действительно, будучи в центре Хельсинки, нам нужно только повернуть по направлению к возведенному в 1910 году зданию Национального музея на проспекте Маннергейма, чтобы уже издали заметить все те же знакомые петербуржцу приметы – грубооколотый гранит, деформированные проемы, стилизованный растительный орнамент, медведей – и мудрых лесных птиц. Недооценивать значение этого стиля, равно как и отрицать возможность его возрождения в будущих проектах петербургских зодчих было бы совсем неосторожно. Уж если строить на нашей болотистой почве, так в этом духе – а потом удобно устраиваться в новом доме, у камина и с томиком «Калевалы» – или, пожалуй, «Северных сборников „Фиорды“».

В заключение нашего краткого экскурса, необходимо упомянуть и о том, что большинство вокзальных зданий по линии Финляндской железной дороги было построено во второй половине XIX столетия по проектам финляндских архитекторов. К ним относились вокзалы на станциях Ланская, Удельная, Шувалово и прочих, расположенных поблизости от Петербурга. Первоначально они возводились в стиле неореализма. С приходом же «северного модерна», многие из этих зданий были перестроены, с тем, чтобы соответствовать требованиям нового вкуса. В таком виде они и примелькались глазам проезжавших российских художников и литераторов, иногда находя пути в тайники их творческого воображения. В качестве классического примера, можно сослаться на видение Незнакомки, явившейся лирическому герою Блока в ресторане при станции Озерки. Некоторые из упомянутых станционных строений дошли до наших дней, дополнив едва различимый финский акцент в архитектурном тексте нашего города.

Шведские корни

Город у шведской границы

Первому веку исторического бытия Петербурга суждено было стать столетием трех больших русско-шведских войн. Они были проведены в 1700–1721, 1741–1743 и 1788–1790 годах – то есть, соответственно, при Петре I, Елизавете Петровне и Екатерине Великой. Войны были длительными, кровопролитными и изнурительными для обеих сторон: в особенности это касается первой из них, Северной (у шведов она заслужила название Великой Северной войны). Что же касалось «сухого остатка», то он был внятн уже современникам. Утратив уже по результатам Северной войны положение «стурмакта»-великой державы, Швеция долго еще не могла примириться со своим положением и пыталась повернуть вспять ход истории. Напротив, Россия, перехватив статус великой державы, была занята новыми приобретениями и шла прямо в зенит своего могущества.

В региональном аспекте, это столетие было, помимо всего прочего, борьбой за Финляндию. Военные действия не раз затрагивали и сухопутные крепости, и острова в финских шхерах. По результатам Северной войны, к России отошла так называемая «Старая Финляндия» – юго-восточный угол страны с Выборгом. К середине века, новая граница была сдвинута еще дальше на запад и прошла по реке Кюмень. Шведы не помышляли об оставлении этой своей старой и хорошо обустроенной – особенно на ближайшем к Швеции, западном побережье – провинции. Для россиян же присутствие не вполне дружественной границы возле самой имперской столицы было также невыносимым. Как видим, и в этом аспекте первый век Петербурга был лишь прелюдией ко второму. Наконец, в локальном аспекте, ограниченном собственно Петербургом и ближайшим его хинтерландом, положение также существенно изменилось. Век начался с блеска шведской столицы, закончился же он обустройством блестящей имперской столицы на берегах Невы. Ее можно было не любить – но нельзя было не признать, что по сравнению с этой новой мировой столицей, Стокгольм стал хорошо обустроенным и выгодно расположенным, но в общем скромным по европейским понятиям городом. Отношение к нему у нас было двойственным: с одной стороны, каждый из воевавших с Россией шведских королей находил необходимым подчеркнуть, что взятие Петербурга и возвращение Ингерманландии принадлежит к числу его стратегических задач – так же, как и направить свой флот барражировать в район острова Котлин. С другой стороны, русские жадно овладевали технологиями всех ремесел и занятий, от воинского дела – до искусства балетмейстера.

Стокгольм исправно поставлял нам пособия и специалистов, и потому виделся как культурный партнер со времен Петра I: сам царь, кстати, изрядно владел шведским языком, а императрица Екатерина Алексеевна так и вообще родилась в шведском подданстве. Кстати, на эту тему есть прелестный анекдот, дошедший до нас в пересказе голштинского дипломата, графа Г.Бассевича. Дело было так: граф прибыл в Россию со своим государем, герцогом Карлом Фридрихом, который посватался за Анну, старшую дочь Петра I. Герцог приходился племянником Карлу XII, и потому имел известные виды на шведский престол. Ведя беседу с Карлом Фридрихом, Екатерина сказала в шутку, что если бы шведы не развязали вероломно Северную войну, а Провидение сделало бы герцога королем шведским, то – кто знает – может быть, она стала бы его подданной. Присутствующие были приятно удивлены остроумием царицы, а пуще всех Петр. «Царь не мог надивиться ее способности и умению превращаться, как он выражался, в императрицу, не забывая, что она не родилась ею», – заметил граф Бассевич. Отметим кстати, что этот брак в конце концов состоялся,

и в нем Анна Петровна родила не кого иного, как будущего российского императора Петра III. Как заметили современники, в его жилах кровь Петра I соединилась с кровью Карла XII. Более того, благодаря династическим бракам голштинского дома он имел права не только на шведский и российский, но и на датский трон – или, как тогда выражались, «мог претендовать на скипетры всех престолов Севера». По-видимому, последним нужно объяснять тот исключительный интерес, который проявили к Петру III такие крупнейшие мистики своего времени, как Сведенборг и граф Сен-Жермен.

В ознаменование Ништадтского мира, в Петербурге была выбита памятная медаль. На ней мы видим голубку, которая, держа в клюве цветущую ветвь, парит под огромной радугой, соединяющей Стокгольм и Петербург. Стокгольм опознается по двум высоким шпилям – очевидно, Рыцарской (Риддархольмской) и Немецкой кирхи, Петербург – по шпилю колокольни Петропавловского собора. Силуэты обоих городов выглядят на медали схожими – и это не вполне случайно. Планировка Стокгольма, хорошо известная русским петровского времени, могла оказать влияние на пространственное решение Петербурга.

Второе столетие Петербурга прошло под знаком существенных изменений в шведской политике царского двора. Их основное направление определялось принципиально новым курсом на постоянный нейтралитет, гарантированный и поддержанный великими державами, который провозглашался Швецией сначала по случаю, на время и в ограниченных рамках, а после, с середины XIX века, уже сознательно и систематически. Точнее, на первых порах в Стокгольме ориентировались на доктрину так называемого скандинавизма, воевали с Норвегией и в конце концов создали с ней соединенное государство. С годами, все преимущества нейтралитета обнаружились с полной отчетливостью, и составили своего рода шведское «ноу-хау». В общем и целом, эта политика встретила самое теплое понимание в России, а поддержка ее составляет одну из констант российской политики и в наши дни.

В региональном аспекте, это столетие прошло под знаком присоединения Финляндии к «русскому миру», которое произошло в результате русско-шведской войны 1808–1809 года. Как следствие, Российское государство включило в себя часть Фенноскандии, а «эксцентрический центр» империи Петербург наконец оказался расположенным в глубине российских земель. На первых порах, цари только что не носились с Финляндией, жалую ей особые привилегии и бенефиции. Как следствие, небогатая северная страна расцвела под скипетром русских царей и ко времени Александра II вошла в пору цветения. Не случайно памятник этому императору (и, одновременно, Великому князю Финляндскому) по сию пору стоит на главной площади финской столицы, построенной в духе петербургского ампира. К концу века, привилегии были отняты или редуцированы, а царский манифест 1899 года распространил на Финляндию российское законодательство (до этого, в общем и целом, продолжали действовать старые шведские законы и уложения).

В восприятии «петербургской цивилизации» у шведов сложились два противоречивших друг другу стереотипа. С одной стороны, с ростом многообразных контактов между двумя нациями, все больше шведов приезжало в наш город (или транзитом через Петербург) на работу, а то и перебиралось сюда. Достаточно упомянуть о знаменитом Иммануиле Нобеле или о менее славном, но не менее знающем Фридольфе Альмквисте, с немалым успехом занимавшихся устройством военной промышленности. С другой стороны, шведам претили самодержавие и особенно полицейское хамство, навсегда получившее в шведском языке краткое, но выразительное определение «русских методов» («ryska metoder»). В этих условиях, в коллективном сознании шведов снова поднялся на поверхность застарелый комплекс «русских страхов» («rysskräck»). В свою очередь, петербуржцы с некоторым пренебрежением смотрели на провинциальные установки шведов с их культом «умеренности и аккуратности», что не мешало формированию в самосознании петербуржцев особого, нового для

нашего города (но не для россиян, всегда помнивших о роли варягов в формировании своего государства) комплекса принадлежности к гиперборейской, нордической общности.

Третье столетие Петербурга прошло под знаком двух великих российско-германских войн. Шведы прошли его с минимальными потерями, отстаивая ставший традиционным для них нейтралитет, и открывая в нем новые грани (если в начале XX века, а также на начальных этапах второй мировой войны, эта политика имела вполне определенный прогерманский крен, то, начиная со времен «холодной войны», в ней укрепились ориентация на творческий, «активный нейтралитет»). Остерегаясь вступать в особые отношения с Россией, тем более с Советским Союзом, шведы старались по мере возможности держать восточные двери открытыми. Как следствие, «петербургская империя» поддерживала через Швецию весьма оживленные связи с западным миром (даже телеграммы чаще всего шли через Стокгольм), ведущие деятели большевизма, от Троцкого – до Ленина, вернулись в Петроград тоже через Стокгольм, там же в начале двадцатых годов была прорвана союзническая блокада Советской России, там Коллонтай вела сепаратные переговоры с финляндцами. Стабильность этой политики ценилась кремлевскими (а прежде того – смольнинскими) стратегами, и в свой черед ими вознаграждалась. В конце века, шведы вступили в Евросоюз, сразу оговорив, что это вступление не будет препятствовать общей политике «свободы от союзов», что также не вызвало тревог у «великого восточного соседа».

В региональном аспекте, главным событием XX века была советско-финская война 1939–1940 года. Определение своей линии в этом конфликте далось шведам очень непросто. С одной стороны, они сделали большой шаг навстречу финляндцам. Как справедливо отметил один из ведущих современных историков российско-шведских отношений А.С.Кан, «на этот раз Швеция выступала не как нейтральное, а всего лишь как невоюющее государство. Она стала арсеналом и военным заводом сражающейся Финляндии, ее хозяйственным и чисто человеческим, гуманитарным тылом». Шведские добровольцы в довольно больших масштабах пошли воевать против советских войск. С другой стороны, шведы принципиально отказались как пропустить через свою территорию вспомогательный корпус западных союзников Финляндии, так и вступить в войну на ее стороне. После окончания «Зимней войны», шведы едва не решились вступить в унию с финнами, восстановив таким образом «старое государство» («Det Gamla Riket»), но взвесили за и против, с опаскою посмотрели в советскую сторону – и отказались. Все это очень ясно показало, что Швеция не желает возвращаться к давно пройденным главам своей истории, особенно к великодержавию-«стурмакту», но также и к Северной войне.

В локальном аспекте, присутствие шведов в Петрограде-Ленинграде-Петербурге XX века никогда не прекращалось вполне. В начале столетия, шведские социал-демократы много и исключительно эффективно помогали своим российским коллегам. С успехом большевистской революции, их представители первыми приехали в Петроград, присутствовали на заседании Совнаркома и заглянули в Таврический дворец, где собралось Учредительное собрание. С началом второй мировой войны, и в особенности блокады, симпатии большинства шведов были на стороне нашего народа. Напомним, что знаменитая «Ленинградская симфония» была исполнена впервые на европейском континенте вне пределов России именно в Швеции, а именно во «Дворце Концертов» города Гетеборг. Это произошло в самом начале апреля 1943 года, то есть до битвы на Курской дуге, тем более до полного снятия блокады Ленинграда. Исход войны был тогда еще совсем неочевиден, а проявление симпатий к советскому городу могло поставить под удар самих шведов. Тем не менее, концерт был назначен и проведен, а в программке его говорилось: «Сегодняшнее, первое в Скандинавии исполнение Седьмой симфонии Шостаковича – это дань восхищения перед русским народом и его героической борьбой, героической защитой своей Родины». С началом перестройки, шведская гуманитарная помощь, а потом и шведские капиталы почти сразу пришли

в наш город. В свою очередь, знакомство с достижениями шведского «государства всеобщего благосостояния» («välfärdsstaten»), тогда еще не вполне демонтированного, согласно рекомендациям Андерса Ослунда и его единомышленников, заняли видное место в дискуссиях времен перестройки.

Петербургские шведы

Носители шведского языка и культуры традиционно делились у нас на «рикс-шведов» («rikssvenskarna», то есть подданных шведской короны), уроженцев Финляндии («finlandssvenskarna»), а также местных шведов, принявших российское подданство, или родившихся в нем («grysslandssvenskarna»). Соотношение между этими группами постоянно менялось: к примеру, по мере включения в состав Российской империи все больших сегментов финляндских земель, доля петербургских шведов финляндского происхождения увеличивалась. Динамика этих процессов внимательно прослежена в исторической демографии, однако для нашей темы большого значения не имеет. Дело состоит в том, что общая численность шведов на протяжении первых двух петербургских столетий колебалась между 2 и 6 тысячами человек, то есть никогда не достигала до одного процента жителей столицы, в XX же веке стала пренебрежимо малой. Как следствие, внутренние перестройки в составе общины петербургских шведов имели значение разве что для них самих, и то не для всех.

Традиционным центром притяжения петербургских шведов была Казанская часть, в особенности квартал, ограниченный Невским проспектом, Шведским переулком и Конюшенными улицами. Здесь помещались здания финской и выстроенной позже шведской церкви, со школой и богадельней, поблизости отсюда стремились обосноваться ремесленники и торговцы. На втором месте по притягательности стоял Васильевский остров, по преимуществу в своей дальней, заводской части. Там стремились обосноваться «рикс-шведы», в первую очередь служащие или владельцы торговых компаний, инженеры, квалифицированные рабочие. Третий район Петербурга, где чаще всего слышалась шведская речь, располагался на Выборгской стороне: там чаще всего открывали свое дело шведские фабриканты, там же селились инженеры и хорошо подготовленные мастера. По данным ведущего специалиста в области этнографии старого Петербурга Н.В.Юхневой, в течение первых полутора веков существования города, первое место по численности населения занимал «лютеранский квартал» около Невского, который поэтому нередко носил название «шведского». С началом «великих реформ», на первое место вышел Васильевский остров.

Положение шведов определялось у нас с петровских времен тем. Что они были носителями передовых знаний и технологий. Раньше всего в Петербурге появились пленные солдаты и офицеры армии Карла XII. Как отмечает А.С.Кан, «то была вторая, после жителей Немецкой слободы в Москве, столь крупная группа приезжих из более развитой страны». Рассеявшись по стране, энергичные и неунывающие «каролинцы» («karolinerna») много способствовали подъему российской промышленности и военного дела. В следующем столетии, пришло время промышленников, переносивших свой бизнес в Россию в надежде на необъятный рынок и налоговые послабления. Хорошим примером может служить деятельность фирмы И.Нобеля, сперва поставлявшей паровые машины для военно-морского флота, потом получившей заказ на производство подводных мин, что было особенно важным в контексте Крымской войны. Дети и внуки его, правильно оценив потенциал кавказских месторождений нефти, стали у нас нефтяными олигархами (на одной из скважин недолго работал в молодости товарищ Сталин – тогда еще Джугашвили). Другой пример составляет фирма Л.М.Эрикссона, ставившего у нас телефонное дело. Вести его в Петербурге было так прибыльно, что ко временам революции на нашем заводе Эрикссона работало вдвое больше

рабочих, чем в Стокгольме, и хозяин планировал полностью свернуть свою деятельность на территории Швеции.

Первым секретом успеха шведских промышленников было, как мы уже отмечали, владение современными технологии производства и маркетинга. Не случайно и Нобель, и Эрикссон начинали со сборочного производства, или же ввоза квалифицированной рабочей силы, в основном финляндских или «рикс-шведов», и только с течением времени налаживали у нас полный цикл производства. К этому присоединялись и социальные технологии. Так, семья Нобелей выстроила на Выборгской стороне целый «Нобелевский городок», в состав которого входили и скромные, но комфортабельные дома для рабочих, и знаменитый Народный дом – досуговый центр нового типа, организованный по шведскому образцу. Как следствие, на заводе «Людвиг Нобель» не было проблем со стачками даже в годы первой русской революции. Вторым секретом стало хорошее знание российской специфики: без правительственных заказов и вообще теплых отношений с властными структурами у нас, в отличие от Европы, и шагу ступить было нельзя. Знакомясь с биографиями обоих упомянутых предпринимателей, мы видим, что резкий подъем наступал после того, как они находили подход к представителям власти.

«Шведская система» в масонстве

Шведская система сложилась в середине XVIII века, последний блеск был наведен к 1800 году. Таким образом, по времени оформления она принадлежит к «густавианскому времени» – одной из самых блестящих эпох в шведской истории. Во главе масонских работ стоял сам король Густав III, а также его брат, герцог Карл Зюдерманландский, занявший позднее трон сам, под именем Карла XIII. Особенности шведского масонства той эпохи можно очертить двумя словами: «строгое наблюдение» и тамплиерство. Первое состояло в строгой, полувоенной дисциплине, обязательной на всех уровнях организации. Во главе ордена стояли вожди, приказы которых были обязательны к исполнению. При этом сами они не только не отчитывались ни перед кем, но и могли оставаться инкогнито, отсюда и их название: «Невидимый капитул». Его чаще называли Капитулом просветленных, что приводит нас к другой особенности «северной системы» – ее глубокому мистицизму. На собраниях лож братья учились вызывать духов и приказывать им, то есть занимались теургией. Для этого изучалась система оккультных (прежде всего каббалистических) наук, а также осваивался комплекс физических и духовных упражнений. Инициация велась строго постепенно, по «градусам». На высших ступенях посвященный узнавал великую тайну, дошедшую через поколения магов и иерофантов, включая и «рыцарей Храма» (тамплиеров). Таким образом, по замыслу шведское масонство представляло собой духовное воинство во главе с «королем-магом». Уже на ранних этапах формирования системы «строгого наблюдения» (в период так называемого «шведско-берлинского» масонства) в ней прослеживается стремление объединиться в своего рода «священный союз». Просматривая акты европейских конгрессов этого направления, собиравшихся с 1764 года, мы видим одно и то же: Европа рассматривается как единое целое, а отдельные страны – как «провинции строгого наблюдения».

Шведская, или «северная система» была известна в России и произвела на наших масонских деятелей самое выгодное впечатление именно своим военно-феодалным устройством. В середине семидесятых годов XVIII века, петербургские масоны послали в Стокгольм своего представителя, с просьбой принять их в «северную систему». Рекомендации посла были самые надежные, вплоть до «великого мастера» Ивана Перфильевича Елагина, а сам план распространения работ на территории России открывал перед шведами головокружительную перспективу. Дело было решено ко взаимному удовлетворению. Гонец, молодой князь Александр Куракин, вернулся в Петербург возведенным в высокие шведские «гра-

дусы», и с полномочиями на открытие Российской провинциальной ложи. На следующий, 1777 год, в Петербург прибыл с официальным визитом король Густав III. Он произвел впечатление даже на привыкших к пышности вельмож екатерининского времени. Формально, король приехал для переговоров с Екатериной II, которой он приходился родственником. Екатерина радушно приняла августейшего родича: ему были пожалованы шпага изысканной работы, шуба чернобурых лисиц – а также орден св. Александра Невского, что было для шведа не вполне приятно, поскольку сему русскому князю довелось в старые времена нанести поражение шведскому воинству. Приемы и балы шли своим чередом. Однако была у шведского короля еще одна, если не тайная, то особая цель приезда. Приняв участие в соединенном собрании петербургских масонов, проведенном 26–27 июня 1777, король Густав III изволил руководить их работами и, таким образом, закрепил формальное присоединение петербургских масонов к «шведской системе». По сути, Россия присоединилась к новой религии, и глава ее прибыл в Петербург, чтобы открыть для «северной системы» пространство страны, освятив его на свой лад. В пользу нашего вывода, мы можем сослаться на текст документа, положившего краеугольный камень в здание российского масонства «шведской системы». Речь идет о патенте на открытие у нас Директории, выданном Великим провинциальным мастером в Стокгольме, в 1780 году. В первой же фразе читаем, что патент выписан, «принимая во внимание похвальную и блестящую преданность и рвение, которые обнаруживают братья достопочтенного Капитула, основанного нами в Петербурге, к общему благу нашего св. ордена, с первой минуты, когда мы рассудили за благо возжечь у них свет, и имея в виду местность Российской империи, обширное пространство которой требует, для сохранения доброго порядка и точного исполнения наших святых законов, надзора».

Фундамент масонского здания в Петербурге был заложен с большим тщанием. Архитекторы могли ожидать его быстрого построения. Но уже первые ряды камней стали ложиться вкривь и вкось. Дело было в том, что первосвященник «шведской системы» – или говоря масонским языком, викарий Соломона – герцог Карл Зюдерманландский, стал проводить принципы «строгости наблюдения» совершенно всерьез. России не было дано не только самостоятельности, но и статуса провинции особого рода, из Стокгольма посыпались приказы и директивы. Между тем, в числе петербургских «братьев» были вельможи, поместья которых могли сравниться по размеру с доброй четвертью Швеции, а состояние было сопоставимо с ее годовым бюджетом. Положение становилось несколько забавным. О нем стало известно в свете, дошло и до государыни. В другое время, наши масоны заслужили бы ироническую улыбку Екатерины II и, может быть, обидное замечание кого-нибудь из ее фаворитов. Но тут обнаружилось неприятное обстоятельство. Визит Густава III произвел сильное впечатление на наследника, Павла Петровича. Пошли слухи, что вскоре, чуть ли не тем же летом 1777 года, он был келейно принят в масоны. Так оно было или нет, сказать сейчас трудно. Но вот то, что наперсниками будущего императора Павла I оказались сплошь масоны шведского обряда, нельзя отрицать. С учетом таких обстоятельств, дело превращалось из забавного в положительно скверное. Для высших сановников оно могло кончиться опалой и ссылкой, для менее влиятельных – крепостным казематом. Времена еще были, говоря современным языком, «сравнительно вегетарианские». Государыня пока не чувствовала себя старой и не была напугана французской революцией. Поэтому рекомендацию оставить масонские работы братьям передал обер-полицеймейстер, сам бывший членом ордена – ситуация довольно забавная. В среде масонов началось брожение умов.

Формально, дело еще нельзя было считать потерянным. Так, вскоре, в 1782 году, собрался общеевропейский конгресс лож «строгости наблюдения» в Вильгельмсбаде. Там Россия была отделена от Швеции, выделена в самостоятельную (VIII) провинцию, а шведское тамплиерство даже подверглось порицанию. Но дело было не столько в формальностях, сколько в отношениях монархини с Павлом Петровичем, поправить которые было сложно.

По части собственно мистических работ тоже было неладно. Серьезные русские масоны искали шведских «градусов» не для коллекции, как и не для полагавшихся по ритуалу пышных плюмажей и вышитых епанчей. Шведские «градусы» были нужны, поскольку они включали алхимию, теургию, а главное – обретение бессмертия. Не получив этих познаний из Стокгольма немедленно, серьезные мистики во главе с Н.И.Новиковым приняли розенкрейцерство и отложились от шведского масонства. Сохраняя должное почтение к славному деятелю российской культуры, нужно сказать, что в данном случае он себя вел некорректно. Шведское масонство включало очень непростые эзотерические работы, для усвоения которых было явно недостаточно срока в два-три года. Но даже за этот короткий период, в петербургских ложах было сделано немало. Как замечал современник, «русские масоны, члены высоких степеней шведского масонства не находят достаточно выразительных слов для начертания восторгов сверхнатурального состояния». Кстати, эта экзатичность осталась характерной для «шведской системы» и по сей день. «Ритуал вольных каменщиков уделяет обширное место переживаниям мистерии», – подчеркнуто в соответствии с древними установлениями и в современном катехизисе шведских масонов, выпущенном в Стокгольме в 1993 году, – «Иногда сдвиги происходят тихо и постепенно, иногда – быстро и ошеломляюще». Масоны шведской системы ведь продолжают отправлять свои работы в Стокгольме по сей день, пользуясь немалым влиянием в высшем обществе. Они собираются в поместительном «Боотском дворце» (Bååtska Palatset), под старинным своим белым стягом с красным крестом, в престижном районе Стокгольма и по сей день.

Для работ по шведской системе нужно немало усилий и времени. Видимо, у Новикова с сотрудниками последнего не было – или же этот путь показался им тупиковым. К примеру, не успели его принять в VII градус «шведской системы», как Новиков уже в нем разочаровался. Он писал: «Градус дан был рыцарский, и он мне совсем не понравился, и показался подозрительным». Дело здесь, очевидно, не в «шведской системе», а в личных пристрастиях, точнее – в том, что Новиков уже задумывал новый стиль духовных занятий, который был им вскоре реализован в рамках розенкрейцерства... Итак, началась непогода. Строители российско-шведского храма стали отстегивать масонские запоны, откладывая в сторону свои мастерки и наугольники и расходиться – кто на другие постройки, а кто и подальше от таких. Ко времени исторической катастрофы екатерининского масонства, «северная система» должна была восприниматься как неактуальная. Иначе сношения со шведским двором были бы включены в состав обвинительных пунктов известного указа Екатерины II по поводу новиковского дела (1792), чего, как известно, не произошло. С приходом к власти Павла I положение существенно не изменилось. Точнее, один из первых приказов государя был о реабилитации репрессированных масонов. Однако шведские масоны недолюбливали Мальтийский орден, и возбраняли посвящать его членов в высшие «градусы» своей системы. Увлечение же Павла I мальтийскими церемониями общеизвестно.

Наконец, корону принял Александр I: ситуация снова переменилась. Молодой монарх был терпим к разным стилям религиозности, и даже сам склонен к мистическим исканиям. Он задумывал широкие реформы, предполагая дать подданным конституцию и ввести просвещение. Во всех этих отношениях масонам было что сказать, у них была готова не одна программа преобразований. Но все было не так просто, как видится сейчас. Кому-то нужно было добиться аудиенции у главы государства, где масонов преследовали добрых десять лет, и заявить, что они по-прежнему здесь, даже с не особенно расстроенными рядами, и готовы к услугам. Всего через два года после коронации, эту задачу принял на себя и блестяще выполнил Иван Васильевич Бебер, представитель масонства «шведской системы». Да еще не просто представитель, а один из «отцов-основателей», принимавших в Петербурге Густава III, секретарь тогдашней Великой национальной ложи. Как выясняется теперь, прошлые гонения не оказали на Бебера никакого впечатления: он никогда не отделялся со своей

ложей от масонов Швеции, а в ответ на запрещение Екатериною II масонских работ ушел в подполье – или говоря масонским языком, «объявил силанум». Беберу удалось даже сохранить патент герцога Карла Зюдерманландского от 1780 года на открытие у нас Директории и многие старые протоколы. Это было принципиально важно, поскольку масонство, как никакая другая религия, зависит от конституций и протоколов. Положение неожиданное: остается признать, что здание 1777 года было заложено в Петербурге со знатной прочностью!

Добившись благосклонности государя, Бебер действует энергично и быстро: «северная система» вновь овладевает умами. В обществе все чаще появляются люди, поблескивающие перстнем или цепочкой с эмблемой коронованного пеликана, выкармливающего птенцов. Это – члены ложи «Александра благотворительности к коронованному Пеликану». Она открыта в Санкт-Петербурге с одобрения Александра I – и, конечно, носит его имя. Затем открывается ложа «Елисаветы к добродетели» (1809), носящая имя августейшей супруги государя. Ее членам дана эмблема пятиконечной золотой звезды, с наложенным на нее изображением циркуля и наугольника. Потом открывается ложа «Петра к порядку» (1810). Ее члены получают эмблему премудрого змея-уробороса, кусающего свой хвост, повиснув на золотом кресте. Здесь нужно отметить недооцененный до сих пор шаг Бебера, свидетельствующий в пользу его дальновидности: ложи строились по сословиям или общественному положению их членов. Так, ложа «Александра» объединяла в основном среднее дворянство, «Елисаветы» – аристократию, «Петра» – немецкую инженерно-техническую и торговую интеллигенцию (сам Бебер был из немцев, и кстати, член-корреспондент Императорской Академии наук). Таким образом, ложи становились как бы зародышами политических партий, а ложа «Владимира к порядку», где все они собирались на совместные собрания – прообразом парламента. Общеизвестно, как сложен вопрос о переходе от аморфного (точнее, органического) общества – к системе сословного представительства: здесь мы видим попытку его решить. Закрепляя успех, Бебер и его коллеги добились в 1810 году официального разрешения масонства. Здесь, кстати, произошел забавный эпизод, типичный для нравов тех лет. Министр полиции осведомился в специальном запросе, желали ли бы масоны быть «терпимы или покровительствуемы». Разница была большая: на языке того времени первое означало периодические ревизии, а последнее – полную отчетность. Поразмыслив и посоветовавшись, масоны сообщили, что выбирают первое. Для сыска так было труднее, но что прикажете делать – министр вздохнул и согласился... В том же году к ложе «Владимира» присоединились еще и влиятельные ложи «французского обряда». Это был настоящий успех – как потому, что «французская система» всегда противопоставляла себя «шведской», так и потому, что вне подчинения Беберу, собственно, серьезных деятелей и не оставалось.

Достигнутое единство так же легко было нарушено. Возникли новые коалиции лож и временные союзы. Масонство во все времена охотно допускало внешние перестройки и дискуссии, оставаясь по сути весьма консервативным. Так было и в александровской России. И, как везде в ту эпоху, масонство наладило длинные косвенные связи, выходившие иной раз к ключевым фигурам общественной жизни. Возьмем для примера М.М.Сперанского – едва ли не ведущего деятеля внутренней политики России. При Александре I он разрабатывал конституцию, при Николае I – после периода опалы – составил объемистый, более чем 50-томный, полный свод законов, и добился его утверждения. В своем отношении к масонству Сперанский напустил изрядного тумана. С одной стороны, он никогда не отрицал, что принял посвящение довольно рано, около 1810 года, и что наибольшее впечатление на него произвела «шведская система» – а именно, умелым сочетанием смелых реформ с твердым дворянско-феодалным консерватизмом. С другой стороны, когда император охладел к масонству, Сперанский открыто и честно заявил, что вступил он туда без интереса и увлечения, токмо волею пославшего его правительства, да и то скорее для наблюдения, не будет ли чего противозаконного... Чтобы не делать рассказ чересчур серьезным, дополним

его забавным анекдотом того времени. Как повествует один из мемуаристов, при общении со Сперанским ему доводилось обонять легкий запах серы, а во взгляде замечать блеск синеватых огоньков подземного мира. Рассказ говорит о том, что мемуарист был христианским фундаменталистом – да еще с изрядной фантазией в гоголевском вкусе – но также и о том, что масонство наложило свой отпечаток не только на образ мыслей графа Сперанского, но возможно, и на его манеру говорить и держать себя. Толстой отметил иное: одного из героев его «Войны и мира» удивила привычка Сперанского неожиданно прибегать в дискуссии к чисто метафизическим доводам. «(Это последнее орудие доказательств он особенно часто употреблял). Он переносил вопрос на метафизические высоты, переходил в определения пространства, времени, мысли и, вынося оттуда опровержения, опять спускался на почву спора». Такая манера была естественной для выходца из духовного сословия, каким был Сперанский. Но светскому человеку она должна была представляться если не скользкой, то решительно непривычной. В целом же, именно благодаря сети косвенных связей вроде затронутой нами на примере такого видного реформатора, как М.М.Сперанский, «шведская система» стала одним из заметных факторов общественной и светской жизни России александровской эпохи.

В 1822 году, с тяжелым сердцем, государь подписал рескрипт, запрещающий в России масонство, равно как другие тайные общества. В некотором смысле, Александр повторил путь, пройденный в свое время Густавом III. Шведский король тоже начал с намерения быть «философом на троне» и даже вольтерьянства, был посвящен в обряды франкмасонства – а кончил свои дни в глубоком разочаровании и консерватизме, окруженный заговорами и изменой. Масоны и сами чувствовали, что запрет – окончательный. В трогательных меморандумах они заверяли правительство, что бежали зла, стремились единственно к добру и строгому выполнению долга перед царем и отечеством, но если на то воля государева – то остается «со всею готовностью во всяком случае беспрекословно повиноваться оной». Нужно оговориться, что влияние шведско-масонской системы на том не прекратилось вполне. Формально, историки петербургского масонства прослеживают вплоть до 1860-х годов сохранение некоторых связей, поддерживавшихся его деятелями со Стокгольмом – по преимуществу, в порядке личной инициативы и без широкого оглашения. По сути же, намеченная под влиянием масонских понятий, идея Священного Союза была подтверждена Николаем I в Мюнхенских соглашениях 1833 года и может быть прослежена в концепции внешней политики России вплоть до крымской войны.

«Путь на север»

«...И думал он: / Отсель грозить мы будем шведу. / Здесь будет город заложен / На зло надменному соседу», – читаем мы на первой же странице Вступления к «Медному всаднику», открывшего в то же время магистральную линию петербургского текста в целом. Как видим, текст этот с самого начала был утвержден в не допускающих сомнения выражениях на противопоставлении петербургского дела – шведскому. В тексте написанной в том же, 1833 году «Пиковой дамы» шведская линия выражена прикровенно: речь идет, собственно, об эпитафии «из Шведенборга». Это имя заставляет нас насторожиться. Эммануил Сведенборг, как теперь пишется эта фамилия, был крупным – пожалуй, даже единственным мистиком мирового масштаба, которого породила земля шведская. Мало того, пик его активности, или, как говорили в древности, акме пришелся на 40-60-е годы XVIII века – то есть тогда, когда Россия была широко открыта шведскому влиянию. Все это делает упоминание Сведенборга у Пушкина особенно интересным; но первое знакомство с эпитафией скорее разочаровывает: «В эту ночь явилась ко мне покойница баронесса фон В***. Она была вся в белом и сказала мне: „Здравствуйте, господин советник!“ Шведенборг». Вот, собственно,

и все. В лучшем случае, перед нами – образец светской беседы, *causerie*, без напряжения переходящей от одного предмета к другому. В этом смысле эпиграф из Сведенборга, предпосланный главе пятой, хорошо соответствует по духу эпиграфам к другим главам – таким же блестящим из светской болтовни, или из непринужденных записок. В худшем случае, в нем можно увидеть комизм: дух помнит чин медиума и не забывает употребить его при приветствии. Все это довольно забавно. Решив так, мы были бы непростительно простодушны. Как часто у Пушкина, чем легче стиль – тем глубже содержание. В частности, в главе пятой, дух покойницы графини, весь в белом, является Германну, чтобы открыть тайну трех карт, а это – осевой мотив всей повести. Тут только мы замечаем, что Германн – инженер, как и Сведенборг, что оба соединяли духовидение с холодной педантичностью (расставшись с призраком, Германн не нашел ничего лучше, как сесть за стол и записать свое видение). Наконец, сам эпиграф исключительно точно передает то впечатление, которое Сведенборг всегда старался вызвать у своего читателя – легкого, практически повседневного общения с духами.

Само учение Сведенборга почти необозримо. Одни исследователи выделяют в нем онтологию – учение о потустороннем мире как огромном мистическом организме, по типу каббалистического Адама Кадмона. Сведенборг называл его «*maximus homo*» – «величайшим человеком». Другие отмечают оригинальность его этики: она основана на законе, близком к индийской карме, что для христианской мысли тогда было решительно необычно. Для нас наиболее интересным будет учение о «метафизическом ландшафте». Суть его сводится к тому, что у каждого города нашего мира есть свое соответствие в духовном мире. Там есть те же привычные улицы, мосты, лавки, и даже трактиры на том же месте, где обитатели того света опорожняют кружки доброго пунша за духовное здоровье друг друга. Сведенборг живо описывает прогулки по этому (точнее, тому) свету. Временами он мог бы поклясться, что и не отлучался из привычного Стокгольма или Лондона, если бы навстречу ему не попался давно умерший коллега. Сведенборг замечает в одном месте с мрачным юмором, что некоторые из почивших так обманывались на первых порах после своей кончины таким сходством, что отправлялись по привычке на службу, покуда не понимали, что этого уже не надобно будет делать никогда. Говоря более точно, Сведенборг полагал (и видел), что каждая точка нашего мира имеет соответствие в мире духовном. Таким образом, настоящему Стокгольму или Петербургу соответствует такой же, но метафизический Стокгольм или Петербург. Оба занимают одно и то же место, но существуют в разных размерностях. Как это происходит – объяснить трудно. Сведенборг в таких случаях склонен переходить на язык математики, напоминая теорию множеств; желающие могут справиться со знаменитой главой 56 трактата «О небесах», и окружающими ее леммами.

Для нас более существенно то, что хотя по природе граница между обоими мирами непроницаема, и их обитатели не встречаются, и даже могут не подозревать о существовании друг друга, эта граница может приоткрываться для отдельных избранников, в исключительных случаях, произволением или попущением Божиим. Собеседники Сведенборга иногда интересовались, нет ли каких способов заглянуть за нее по желанию, старый визионер более или менее учтиво уклонялся от ответа, что бывало непросто – скажем, когда приходилось отказывать своей королеве. Но суть дела не в этом. Уже сказанного достаточно, чтобы представить, как оно могло стимулировать воображение нервного писателя типа Гофмана или Одоевского. Даже не нужно, чтобы граница открывалась – достаточно того, чтобы снежным зимним вечером или летней белой ночью она становилась чуть прозрачнее, и сквозь привычные контуры умышленного и отвлеченного города едва просвечивал его метафизический двойник. Интуиция этого рода, нигде у Сведенборга не выраженная прямо и однозначно, но более чем присущая его оккультному стилю, поразила современников, отразилась в книгах его почитателей и в конечном счете, пройдя через много рук и умов, нашла себе применение при разметке структур «петербургского мифа».

Распространение идей Сведенборга в екатерининской и александровской России – тема, давно занимающая исследователей, тут уже составила небольшую литературу. Подводя итоги, можно сказать, что у нас было очень немного кружков, близких к его «Новой церкви», и буквально единицы вдумчивых читателей. Однако к ним примыкали масоны «шведского чина» – поскольку в его высших градусах практиковалось духовидение по Сведенборгу, и изучались его книги. Поэтому многое из того, что мы сказали выше о догматике и о практиках петербургско-шведского масонства, подразумевало и это учение. Более широким был круг образованных людей, затронутых проповедью «нового стиля» в христианстве – пиетизма, и близких ему направлений. Характерным типом такой проповедницы была известная мадам Крюденер – «духовный друг» императора Александра, имевшая на него известное влияние при оформлении идеи Священного Союза. Люди этого типа хорошо знали Сведенборга и охотно использовали его положения в контексте собственных построений, что было корректно, поскольку стиль духовных занятий был в общем тот же. Еще шире был круг читателей таких авторов, как Ф.Этингер, ученик Сведенборга, или его почитатель, прославленный визионер Г.Юнг-Штилинг. Традицию перевода этих «вариаций на темы Сведенборга» у нас начал еще Н.Новиков. Ну, а далее шел широкий круг впечатлительных петербуржцев, услышавших от приятеля перед разводом, либо после такового, за картами, что-нибудь не вполне вразумительное, но поражающее воображение о «видениях Шведенбурга» и торопливо обдумывающих слышанное, примеряя его к собственной жизни, во время пути домой по ветреным улицам ночного Петербурга. Таких людей было много, к ним мог относиться и пушкинский Германн.

Перечень связей с российской культурой на том далеко не закончен. По замечанию шведского историка литературы А.Халленгрена, в 1824 году, то есть за 9 лет до появления пушкинской повести, некий Клас Ливийн опубликовал в Швеции роман в письмах под названием «Spader Dame», что собственно, и значит «Пиковая дама». Герой романа попадает в Данвикенский госпиталь – ту самую лечебницу для душевнобольных, куда в свое время хотели заключить Сведенборга противники его учения. Госпиталь этот давно снесли; теперь, почти под утесом, на котором он в старину стоял, оборудован причал паровой компании «Викинг» для гигантских паромов («Finlandbåtarna»), курсирующих ежедневно (точнее сказать, еженощно) по маршруту «Стокгольм-Хельсинки» и обратно. Некоторым читателям, вероятно, довелось им воспользоваться... И все же у нас нет необходимости продолжать список контактов. Общая направленность мысли Сведенборга вполне, как мы надеемся, прояснилась, а его влияние на творческое сознание Пушкина не было ни прямым, ни тем более сильным.

В период создания «Пиковой дамы» сознание – а в большей степени подсознание русского поэта было занято развитием заветной и глубоко личной темы. Для литературоведов здесь еще совсем не все ясно, и они подходят к этой теме с большой осторожностью. Ю.М.Лотман, развивая мысль Р.Якобсона, говорил о теме встречи живого с неживым. С этой точки зрения «Пиковая дама» входит в ряд таких произведений, как «Каменный гость», «Медный всадник», «Золотой петушок». Эта тема проведена даже в заглавиях: «Ожившая вещь, движущийся мертвец, скачущий памятник – не живые существа, ... их противоестественное движение лишь подчеркивает мертвенность сущности». В.Ходасевич в Пушкинской речи 1921 года говорит скорее о встрече человека с демонами – и разрушительном для неподготовленного героя последствии такого контакта. В этом плане возможно будет поставить «Пиковую даму» в один ряд с «Медным всадником» и «Уединенным домиком на Васильевском» (в той мере, в какой последняя передает устную новеллу Пушкина). Мы бы сказали, что умственный взор поэта все чаще обращался к границе между двумя мирами, и его творческое воображение строило разные возможности сделать ее проницаемой. В этом мы видим причину того, что слабое влияние Сведенборга все же небезразлично для бога-

того полотна пушкинского гения. Нужно заметить, что Пушкин коснулся здесь, так сказать, основного вопроса метафизики. При этом Петербург виделся ему как место, где граница особенно легко может стать проходимой, по преимуществу для людей нового, «петербургского» склада. Таким образом, не без участия сведенборгианства, уже при самых истоках, «петербургский текст» был насыщен фундаментальной метафизической проблематикой.

Следующее сочинение, к которому мы обратимся, принадлежало перу известного петербургского литератора, по имени Н.Греч. Выпущенный в 1834 году, роман «Черная женщина» пользовался необычайной популярностью среди читающей публики. Тем легче расходились в изобилии рассыпанные в его тексте таинственные рассказы из шведской жизни. По совести говоря, в большинстве они восходили к «бродячим сюжетам» европейского романтизма. Вряд ли автор не создавал этого. Но его вел «дух времени», и Греч многозначительно произносил устами одного из своих героев: «Шведы богаты такими историями»... Одна из них, новелла об «огненном змее», и привлечет наше внимание. Герои романа, два молодых русских дворянина, едут из Петербурга в Токсово, чтобы навестить больного товарища. Друзья подъезжают к Токсово уже в сумерки, находят больного в небольшом обществе, коротающем время у камина за пуншем и трубками, а главное – за рассказыванием друг другу всяческих страшных историй. Гости присоединяются к разговору, поминая электричество и магнетизм (в наше время говорили бы о биоэнергетике). Затем молодой художник Бериллов возвращается к прерванному разговору – несколько косноязычно и как будто нехотя. «– Начали о домовых-с – вот это дело известное-с, то есть домовые-с – кто их не видал-с? ... а потом занеслися, Бог знает куда... с ... то есть... впрочем и не с домовых начали-с, а с огненного змея-с.» – «С какого змея?» – спросил Хвалынский. Бериллов хотел отвечать, но Вышатиин предупредил его: «Андрей Федорович рассказывал нам, что в Петербурге случилось необычайное происшествие»... На этом месте читатель делается глух к обращениям домочадцев, неотложным делам, и впивается в книгу. Да, старые романисты умели захватывать воображение! Впрочем, вернемся к нашему тексту.

«Ты знаешь, что вчера граф Самойлов давал праздник в честь гостя нашего, молодого короля шведского. В то самое время, как Государыня подъехала к крыльцу его дома, огненный шар, или, как говорят в народе, змей пролетел через этот дом, потом через Зимний дворец, за Неву, и упал за крепостью. Мы стали рассуждать о подобных явлениях, и от этого мало помалу дошли до толков о привидениях, о предчувствиях, и тому подобном». Вот, собственно, и весь рассказ. Он оставляет у читателя таинственное, но незавершенное впечатление. Однако никаких комментариев не дается. Погрузив взгляд в огонь камина, следующий рассказчик торопится начать свою страшную историю из времен Анны Иоанновны. Нам же ничто не мешает прерваться, и провести небольшое исследование. Главные действующие лица не названы, но узнаются сразу: это Екатерина II и Густав IV Адольф. Шведский король приезжал в Петербург осенью 1796 года, чтобы посвататься к великой княжне Александре Павловне. Княжна была само очарование, юный король был без ума, дан был ряд блестящих праздников. Все это запомнилось петербуржцам. По-видимому, дата имела значение для автора: вернувшись к первой странице романа, мы видим, что она помечена сентябрем 1796 года. Что же произошло вслед за этим? В ноябре 1796 года, Екатерина II скоропостижно скончалась. Незадолго до этого, буквально перед самым обручением, расторглась и помолвка Густава IV Адольфа. Связь между двумя событиями была, причем самая прямая. Екатерина сама говорила, что известие о разрыве помолвки шведского короля с Великой княжной Александрой Павловной вызвало у нее большее волнение, нежели события, связанные с собственным воцарением. Историки полагают, что потрясение вполне могло привести к удару, оборвавшему жизнь императрицы. Что же касалось юного шведского короля, то он вернулся в Стокгольм в подлинной депрессии – затем, чтобы начать едва ли не самое несчастливое царствование в истории своей династии. В 1809 году он был лишен престола

и изгнан из королевства. На смену ему короновался все тот же дядя, герцог Карл Зюдерманландский – преклонных лет, но, что важнее – бездетный. На нем династия Ваза пресеклась. Остается сделать вывод, что «огненный змей» был дурным знаком императрице или королю, либо же обоим августейшим персонам. Первое весьма вероятно в свете издавна бытовавшей на Руси веры в злого духа, имеющего обыкновение посещать женщин, лишившихся мужа. Вдовы при этом сохнут и в конце концов могут умереть, посторонние же, по данным старого фольклориста М. Забылина, видят духа в виде «огненного змея».

Прочие толкования также нельзя исключить. В их пользу свидетельствуют следующие две истории, рассказанные у камина. Одна из них приурочена к 1740, году смерти императрицы Анны Иоанновны. Сюжет ее сводится к тому, что темной петербургской ночью из ворот Адмиралтейства вышла таинственная процессия. В руках шедших было множество факелов, ярким светом озарявших фасады домов (эта деталь не случайна, она явно продолжает тему «огневидных знамений»). Не убыстряя шага, процессия проследовала к воротам Зимнего дворца, и скрылась в них. Как водится, часовые ничего не видели. Ну, а случайные свидетели, перекрестившись, поспешили по домам. Не менее мрачное впечатление производит и третий рассказ. Действие его происходит в Стокгольме, во времена Карла XI (около 1697 года), и рассказано токсовским пастором по-французски (не без сетований на то, что по-шведски он прозвучала бы красочнее). Мрачной бессонной ночью Карл XI замечает таинственный свет в окнах одной из зал своего дворца на Риддархольме. Яркость света настолько сильна, что он сначала подозревает пожар и взяв всего нескольких спутников, направляется в залу. Как водится в таких случаях, проницательный придворный чувствует неладное и пытается остановить короля. Решительно отстранив его, тот входит – и видит мрачное зрелище. Взгляду визионера представилось облаченное в мантию тело шведского короля Густава III, убитого в 1792 году. Кровь льется ручьем на пол и забрызгивает сапоги Карла XI. Затем взгляд его останавливается на королевском троне, и стоящих подле него бледных фигурах Густава IV Адольфа и герцога Карла Зюдерманландского. Таинственный голос извещает, что на них славному дому Ваза суждено пресечься. Потусторонний свет гаснет, а потрясенного короля уводят в опочивальню. На этом рассказчик обвел взглядом лица слушателей, озаренные неверным светом камина, и вкрадчивым голосом закончил свою историю: «Они теперь находятся в Петербурге. Не случится ли кому-нибудь увидеться с особами их свиты? Всякий швед подтвердит вам истину этого предания».

Положим, истина предания довольно сомнительна. Как замечает историк шведского оккультизма П. Берг, в Швеции оно было известно, но возводилось ко временам не ранее Густава IV Адольфа. Внимание европейского читателя к нему привлек Проспер Мериме. Его блестящая новелла «Видение Карла XI» вышла по-французски в 1829, а на русском языке появилась впервые в «Литературных прибавлениях» к «Русскому инвалиду» за 1833 год – то есть за год до публикации «Черной женщины». Здесь и нужно видеть один из источников вдохновения Н. Греча. Впрочем, нас интересует не истина, а истолкование. Все три токсовские истории объединены темой «огневидных знаков», предвещающих недоброе. Возвращаясь к истории об «огненном змее», мы замечаем еще одну ее особенность. При всей краткости своего рассказа, Бериллов не забывает упомянуть о траектории, по которой тот летел. Она весьма нетривиальна, в особенности в конечной своей части – от Зимнего дворца до места, которое можно примерно определить как западную оконечность Троицкой площади. Зимний входил в ядро новой, левобережной части города и воспринимался на закате екатерининской эпохи как недавний (поскольку последний, шестой по счету дворец был окончен Растрелли лишь к 1762 году). Что касалось Троицкой площади, то это – старейший, правобережный центр города. Любопытно, что с нею уже и до того связывались «огневидные знамения». Так, недалеко отсюда в старину произрастала сосна, весьма чтимая местными жителями. По преданию, в ее кроне в 1701–1720 годах по ночам вспыхивал чудесный свет. Здесь же,

на торжестве 1721 года, по поводу мира со Швецией был выстроен «Янусов дом», вокруг которого в полночь развернулась огневая феерия, задуманная Петром I и проведенная при его участии... Да, положительно, змей знал, куда лететь в 1796 году. Ну, а наш вывод однозначен: траектория полета «огненного змея» согласована с сакральной топографией Петербурга, и потому должна читаться как благоприятное для него знамение.

В пользу такого вывода говорят и второстепенные детали. Так, Берилов упомянул в своем рассказе имя вельможи Самойлова. Речь шла, конечно, об одном из «екатерининских орлов», графе Александре Николаевиче. О нем можно много чего рассказать. К примеру, при взятии Измаила он командовал у Суворова левым флангом, и тот остался доволен: это немало. Для нас же будет существенно другое. На долю Самойлова выпало преподнести императрице от имени Сената титул «Матери Отечества». Последний прямо соотносился с принятием Петром I титула «Отца Отечества», по поводу которого на Троицкой площади и было устроено празднество 1721 года с «Янусовым домом» и огневыми потехами. Добавим, что в другом варианте привлечшего наше внимание предания, «огненный змей» в виде «яркого метеора» упал за каретой императрицы, причем она якобы встревожилась, припомнив, что аналогичный случай произошел с царицей Елисаветой Петровной незадолго до ее смерти. В этом варианте не упомянут шведский король, не сказано и о траектории полета метеора. Однако, согласно свидетельству М.И.Пыляева, предание сохранило память о том, что неприятное происшествие произошло, когда Екатерина II садилась в карету, чтобы поехать на бал, причем именно к графу Самойлову. Что касалось Густава IV Адольфа, то видение «огненного змея» должно было пониматься как неблагоприятное для его королевства. Неудачное сватовство 1796 года начало длинную цепь событий, приведших к охлаждению отношений с Россией и в конечном счете – к русско-шведской войне 1808–1809 годов. В результате нее, Швеция потеряла Финляндию, а Густав IV Адольф – трон. Таким образом, при внешней незавершенности, построенное Н.Гречем предание об «огненном змее» было согласовано с глубинными токами петербургской истории.

Примерно в то время, когда Греч выпустил свой роман, в нашей культуре стал набирать силу «нордический миф». Видную роль в его построении сыграло предание об основании Санкт-Петербурга, рассказанное в повести В.Ф.Одоевского «Саламандра». Пожалуй, подробно пересказывать здесь сюжет книги нет необходимости. С времени выхода в свет в 1841 году, повесть пользовалась устойчивой популярностью у петербургской читающей публики. Напомним только, что в центре внимания автора – происхождения финна Якко, который родился на Иматре, служил у Петра I и по ходу службы увлеченно занимался колдовством и алхимией. Якко рано осиротел и был взят на воспитание старым ведуном. В уста пожилого финна и вложен примечательный рассказ. Старик рассказывает, что на месте будущего Петербурга была спрятана волшебная мельница Сампо – источник магических знаний и долголетия. За обладание ею стали бороться русский царь и шведский король. В ходе поединка, Петр I сковал на воздухе свой Град и опустил его затем долу – так, что финское болото не смогло его засосать. Шведский король напустил на чудесный город наводнение, но ничего не смог сделать. Петербург встал навеки, под охраной магической силы Петра – и, добавим мы, древней Сампо. Построенный Одоевским миф очень любопытен. Не вступая в явную полемику с распространенной у нас голландской или римской родословной Петербурга, он рассмотрел в основании города три первоэлемента, три стихии: «финское болото – шведские волны – петровский камень». Первая стихия пассивна, вторая – активна, но в данном случае не созидательна, последняя представляет творческую волю. По-видимому, эта мифологическая тема подспудно складывалась в сознании петербуржцев и до Одоевского, он лишь придал ей четкость. Так, в известном стихотворении С.Шевырева «Петроград» (1829) читаем: «Море спорило с Петром: / „Не построишь Петрограда; / Покачу я шведский гром, / Кораблей крылатых стадо... Чу!.. в Рифей стучит булат! / Истекают реки злата / И родится чудо-

град / Из неплодных топей блата“». По сути, здесь мы видим ту же глубинную структуру: море в союзе со шведами, финское болото, и преобразующая воля Петра. Заметим, что в творческом сознании Одоевского эта структура могла оживляться тем, что он был князь-рюрикович, помнил о своем происхождении и весьма им гордился. Древняя дружба-вражда русских и варягов, привязанность к «шведско-финской Руси» у него были в крови; этого нельзя забывать.

Само описание поединка не вполне отчетливо, оно совмещает черты алхимического магистерия с гораздо более архаичной схемой шаманского единоборства. Первое укрепляется тем, что Одоевский был герметический философ, практикующий алхимик и оккультист. В тексте «Саламандры» он прямо приравнивает Сампо к «философскому камню». Тогда три стихии нужно понимать как три принципа алхимического процесса, а результат их слияния – Петербург – как «золото философов» – или, прибегая к менее и известной алхимической метафоре, как «сад магов». Петр I со своей концепцией «парадиза», пожалуй, мог бы в принципе согласиться с таким пониманием. Вторая, более архаичная схема находит себе соответствие в фольклоре крестьян северной России. Как давно заметили фольклористы, в образе Петра I выделяются, а иногда и доминируют черты первопредка и мага. Известны ученым и предания о магическом поединке Петра I со шведским королем. В одном из них, Петр трубит в магический рожок, заставляя воды Ладоги поглотить шведское воинство. Знакомство В.Ф.Одоевского с этим кругом преданий более чем вероятно. «Послушайте рассказы о нем русских крестьян, поселившихся в Финляндии», – заметил он в авторском примечании, предпосланном тексту «Саламандры» (в данном случае слова относились к финскому колдовству, но нам важна сама возможность слушать такие рассказы). Как видим, кодифицированный Одоевским миф об основании Петербурга многосложен и построен с большим знанием дела.

Следующее сочинение, привлекающее наше внимание – историческая повесть К.П.Масальского «Черный ящик», вышедшая в 1841 году. Масальский был литератор не первого разбора – во всяком случае, не уровня Одоевского. Однако ему не откажешь в умении ни крепко построить сюжет, ни в особенном интересе к шведской предыстории Петербурга. Героиня «Черного ящика» – юная Мария Сван, происходившая из древнего шведского рода. Отец ее был дворянин, владевший еще до Северной войны мызой Ниенбонинг на острове Льюстейланд – то есть там, где была поставлена позже Петропавловская крепость. По смерти отца, Мария осталась на воспитании в Петербурге, где занималась приличными положению девицы ее происхождения занятиями, то есть шитьем приданого и ожиданием жениха из хорошей семьи. Но была у Марии и тайна. То был загадочный черный ящик. Она получила его из рук покойного отца, с наказом вскрыть его в полночь первого октября 1723 года. В назначенное время, Мария вскрывает ящик, находит в нем бумаги на шведском языке, и читает их. Из бумаг выясняется, что дальним предком Марии приходился великий алхимик Карл Сван, бывший учеником самого Раймунда Луллия. От учителя он узнал секрет изготовления философского камня, то есть стал настоящим адептом. Сам Луллий узнал этот секрет от своего учителя, тот в свою очередь – от своего, и так далее вплоть до основавших алхимическое искусство жрецов города Крокодилополис, что на озере Мерида в Древнем Египте. Все это Мария узнает из рукописи самого Карла Свана, писаной в 1323 году. Дата не случайна, поскольку дальнейшее прямо касается девушки. Дело в том, что процесс получения философского камня занимает ровно 400 лет. Сначала Карл Сван с помощью сложных алхимических операций заключил свет солнца в одном сосуде, а свет луны – в другом. После этого сосуды хранились в укромном месте до 1623 года. В этот год, в полночь, полагалось ископать семиугольную яму, опорожнить туда оба сосуда, и быстро засыпать землей. Поскольку после Столбовского мира семья Сванов переселилась в окрестность Ниеншанца, это было сделано на Каменном острове, вблизи от Малой Невки, то есть у его южной око-

нечности. Процесс продлился еще сто лет, и вот теперь, осенней полночью 1723 года, на долю очередного представителя рода Сван выпало вскрыть яму и извлечь из нее венец трудов – синий камень и полосу золота. Вместе они действуют как философский камень, то есть позволяют получить золото, или эликсир молодости. Как с содроганием понимает Мария, именно на ее долю это и выпало. Дальше следуют всякие приключения. Девиде не удается уберечь тайну черного ящика. Похитители отправляются ночью на место, разрывают яму, но не находят ничего, кроме простого продолговатого камня. В досаде они бросают его под Сампсониевский мост. В довершение неприятностей, на бедную шведку поступает куда следует донос с обвинением в занятиях алхимией. Впрочем, здесь все кончается хорошо. Дело дошло до Петра, он выслушал девицу и помиловал ее. Снисходительность царя оправдана тем, что, как он сам говорит, «в Швеции, как мне известно, до сих пор многие занимаются этою наукою. Они нисколько не хотят обманывать других, а сами себя обманывают». Мария Сван продолжает благополучно жить в Петербурге, помня милость строгого царя, на чем повесть благополучно заканчивается.

Миф, построенный К. Масальским, весьма примечателен. С нашей точки зрения, в центре его лежит не таинственный рассказ о секрете старого адепта, хотя он построен со знанием герметической литературы, и вкусом, производящими должное впечатление. Чего стоят, например, выразительные слова Карла Свана, обращенные к далекому потомку: «Между нами чернеет бездна четырех веков, но ты услышишь голос мой. Внимай ему с уважением»... Центральным для мифа нужно считать то, что Мария Сван – последняя владелица поместья, на месте которого Петр I заложил крепость Санкт-Питербурх. Следовательно, в конце повести описывается встреча не просто великого царя и бедной девицы, но по сути дела, наследственной хозяйки центра Петербурга – с его новым владельцем. Каковы бы ни были сакральные ценности прежних хозяев, они становятся известны новому владельцу и присваиваются им. Судьба самого философского камня остается неясной. То ли старый адепт фантазировал – и тогда в яме ничего не было, то ли он был прав – и тогда в яме под видом простого серого камня был сам «*lapis philosophorum*». Возможны и другие версии – например, что в почве алхимический процесс замедлился, и похитители вырыли, так сказать, полуфабрикат. Все версии недостаточно доказательны, но нам ближе последняя, и вот почему. Как мы помним, похитители не бросили камень на месте, а утопили его в водах Невы, под Сампсониевским мостом. Его название показательное: оно прямо связано со шведами. Ведь победа под Полтавой над ними была одержана в день памяти св. Сампсония, и в России об этом хорошо помнили. Напоминал о том и ряд памятников, прежде всего – прославленный петергофский фонтан, представлявший ветхозаветного силача Самсона, раздирающего пасть льва. Как мы помним, лев считался символом Шведского королевства, а сам фонтан был установлен к двадцать пятой годовщине Полтавского боя. В самом Петербурге нужно прежде всего упомянуть церковь (позднее собор) св. Сампсония, заложенную Петром I в память Полтавской победы в том же 1709 году на Выборгской стороне – как раз там, куда ведет Сампсониевский мост. Кстати, Сампсониевская перспектива, на которой стоял собор, в конце концов приводила в окрестность Поклонной горы. По старому петербургскому преданию (не подтвержденному, впрочем, документами) шведы посылали с горы послов на поклон к Петру I. Таким образом, камень перемещается с Каменного острова в то место столицы, которое прямо посвящено победе над Швецией.

Привлекает внимание и наводнение, которое приурочено к описанным в повести событиям, и как будто связано с ними. Здесь мы видим присущую «нордическому мифу» Петербурга ассоциацию шведов с наводнением. Мы уже разбирали ее по тексту повести В. Ф. Одоевского. Присутствие этого мотива усиливает наше предположение, что под Сампсониевским мостом был затоплен «полуфабрикат» философского камня. Тогда лоно Невы стало с 1723 года своеобразной ретортой, в которой созревает алхимический процесс. Если

ему суждено дойти до конца, то воды Невы станут «эликсиром молодости», а сам Петербург – подлинным парадизом. Вместе с иными, менее благоприятными для города версиями, этот мотив вносит определенный вклад в «нордический миф». Для его адекватного понимания нужно сказать хотя бы несколько слов о том, что представляла собой шведская алхимия петровской – или, раз уж на то пошло, каролинской эпохи.

Ведущим теоретиком и практиком шведского алхимического искусства того времени был знаменитый Урбан Ерне. По складу ума Ерне был приверженцем того, что можно назвать «мягким стилем» оккультных занятий. Этот стиль безусловно преобладал в Швеции. На строгом научном языке он носит название натуральной магии, и базируется на взглядах Парацельса. Противоположный, «жесткий» стиль восходит к учению Агриппы Неттесгеймского, и сводится к широкой демонологии и теургии, а иногда некромантии. Адепты «мягкого стиля» принимают восходящее к Аристотелю представление о четырех первоэлементах, составляющих основу мира, сочетаясь в разных пропорциях. Для создания жизни на них должна снизойти божественная сила, более или менее отождествляемая со светом солнца, луны и других планет. Это учение в Швеции иногда называли «метафизикой света» («*ljusmetafysik*»). Ассоциация с закопанными на Каменном острове сосудами, содержащими «свет солнца и луны» здесь будет вполне оправдана. Карл Сван в повести Масальского занимался, несомненно мягкой, «натуральной магией».

Для полноты картины заметим, что классик шведского алхимического искусства родился в 1641 году, на юге шведской Ингерманландии, на мызе Сквориц (поблизости от теперешней Гатчины), в семье местного пастора. Когда ему исполнилось шесть лет, отца перевели в Ниен, а маленький Урбан пошел в местную школу, где он прошел обычный курс обучения, включавший латынь, греческий, риторику, логику и другие полезные предметы. Играя со сверстниками после окончания занятий на берегу речки Сварто (то есть Охты), мальчик легко овладел разговорным финским, немецким, а также и русским языком, о чем в старости сам вспоминал с умилением. Пройдя курс обучения, он направился через Нарву в Швецию, где и припал к родникам просвещения, много превышавшим возможности скромной ниенской школы. Одним словом, ранние мистические интуиции северного алхимика вполне можно связывать с так знакомым нам неброским пейзажем окрестностей Петербурга. Что же до выработанных им в зрелости принципов и методик, то владение ими было с течением времени включено в высшие градусы «шведской системы» масонства, и было таким образом возвращено на берега Невы. Сказанное составляет полезный контекст при чтении «алхимической повести» Масальского.

В творчестве Ф.М.Достоевского выделяется негромкий, но внятный для подготовленного уха лейтмотив, состоящий в рецепции идей Сведенборга. Можно считать установленным, что Достоевский читал этого шведского духовидца в хорошем русском переводе А.Н.Аксакова, и был лично знаком с этим пропагандистом и знатоком учения Сведенборга. Система Сведенборга была широко известна в русском обществе того времени. Приведем лишь один пример. Когда в 1866 году Петербург посетил один из предводителей церкви Сведенборга, преподобный Дж. Бейли, и выразил желание ознакомиться с Исаакиевским собором, ему было позволено не только заглянуть за царские врата, но и подробно осмотреть алтарное пространство, передвигаясь в нем без всяких ограничений. Мы затрудняемся сказать, проводил ли Бейли какие-либо ритуалы своей секты в святая святых главного храма православной столицы, и если да, то какие именно, но сам факт его присутствия там говорит о наличии высоких покровителей в Петербурге, настроенных весьма радикально в религиозном отношении.

В список сходжений Достоевского со Сведенборгом сейчас включается целый ряд сравнительно узких вопросов – к примеру, объяснение природы адского пламени, которое занимает небольшое, однако необходимое место в ткани романа «Братьев Карамазовых».

Читатель легко сможет освежить в памяти этот фрагмент, обратившись к концу второй части романа: на нем обрывается рукопись Алексея Федоровича Карамазова. К числу более значительных относится концепт «Нового Иерусалима» – так, как он истолкован в «Преступлении и наказании». Откроем роман на пятом разделе третьей части: это одна из осевых сцен повествования. Раскольников по доброй воле приходит к следователю Порфирию Петровичу, и впервые вступает с ним в разговор. В ходе беседы – точнее, психологического поединка, на которые Достоевский был большим мастером – Раскольников утверждает, что веры в «Новый Иерусалим» не потерял. Здесь нужно напомнить, что Сведенборг называл свою церковь именно «Новым Иерусалимом». Ассоциация общеизвестна – но до какой степени она правомерна? Не вызывает сомнения, что и Достоевский, и Сведенборг восходят здесь к одному источнику – а именно, Апокалипсису (21:1–2). Наряду с этим, в истолковании этого места возможны серьезные расхождения. Так, Сведенборг полагал, что Новый Иерусалим – это просто новая церковь (конечно, заложенная им самим). Ей предстоит сойти в старый, полный грехов мир и укорениться в нем, не уничтожая его. Об этом пишется, к примеру, в главе 307 трактата «О небесах», с которым был знаком Достоевский. В этой системе «царство Божие на земле» возможно, ведет же к нему путь социально-религиозного действия.

Достоевский, в свою очередь, полагал, что несмотря на кажущуюся безнадежность окружающего мира, он все же доступен просветлению и преображению: несмотря ни на что, «земной рай» возможен. По сути дела, здесь тот же социально-религиозный пафос. Другое дело – сколько в нем было от муравейника, и сколько – от соборности. Но именно здесь литературоведы видят тут один из светлых источников его творчества, с которым, в конечном счете, были связаны и другие заветные мысли писателя – к примеру, идея особой, «всечеловеческой» миссии русского народа. По-видимому, сам писатель вполне ощущал внутреннюю противоречивость своей веры. Тем неотступнее было желание испытать ее в серии «мысленных экспериментов», пространством которых стали «петербургские романы», а фоном и действующим лицом – холодный северный город. Тем пристальнее вглядывался Достоевский в строки других писателей, ведомых той же мечтой, отсюда и чувство сродства со Сведенборгом.

В конечном счете, к той же традиции, на специальном языке религиозной философии носящей название хилиастической, примыкал и младший современник писателя, крупнейший отечественный мыслитель Вл. Соловьёв. Учитель Соловьёва, философ П.Д.Юркевич, ввел его в курс мысли Сведенборга, которого он, наряду с Бёме и Лейбницем, относил к числу последних великих мыслителей Запада. В дальнейшем, Владимир Соловьёв, с присущей ему основательностью, самостоятельно изучил Сведенборга. Возникшие в связи с этим идеи и образы отчетливо прослеживаются в ряде его работ. Как мы помним, в творчестве Вл. Соловьёва выделяется так называемый «финляндский цикл», а в рамках его более узкий, но крайне насыщенный метафизической проблематикой «сайменский текст». Возникающие здесь у читателя ассоциации ведут скорее на юг, к «Деве радужных ворот» эллинистических гностиков, к императиву «Будь в Египте!», к сирийским теургам. Вместе с тем, южная дева была несколько сродни и этому туману. Обратимся к такому осведомленному и близкому философу по духу и крови комментатору, как С.М.Соловьёв: «Вся поэзия и философия, созданная на берегах Саймы, родственна сведенборгианской теософии».

Повлияло на символистов и своеобразное скандинавофильство Соловьёва, рельефно выступавшее в ряде его текстов. Дело тогда шло ко включению «нордического мифа» в состав «петербургского». В те годы решение этого вопроса было далеко не таким очевидным, как сейчас. «Здесь граждán коренных не бывало», – писал о Петербурге Иван Коневской (Блок отзывался о его творчестве, как об одном из пунктов перехода от позднего декадентства к раннему символизму), и продолжал: «Здесь заглохли и выдохлись финны, / Шведы строили крайний оплот, / А на них новгородцев дружины / Направляли свой бег-

лый налет». Не менее отчужденно относился к нордическому наследию и такой признанный лидер старших символистов, как Иннокентий Анненский. В его знаменитом стихотворении «Петербург» читаем: «Сочинил ли нас царский указ? / Потопить ли нас шведы забыли? / Вместо сказки в прошедшем у нас / Только камни да страшные были». Вопрос здесь скорее в том, «от какого наследства мы отказываемся»; примеры легко умножить. С учетом этой тенденции, яснее становится скрытая полемичность таких строк Соловьёва, как следующие, написанные в 1893 году: «Где ни взглянешь – всюду камни, / Только камни да сосна, / Отчего же так близка мне / Эта бедная страна? / Здесь с природой в вечном споре / Человека дух растет, / И с бушующего моря / Небесам свой вызов шлет». Стихотворение называется «По дороге в Упсалу», но смысловой центр здесь, конечно, не в описании шведского ландшафта. В реальности, кстати, он не так суров: каждый, кому доводилось ездить упсальским трактом, заметит, что краски намеренно сгущены. Центр – во взгляде человека конца петербургской эпохи. Отвернувшись от роскоши юга, он принимает сумрачные пейзажи холодного севера, как обетование тернистого пути к гибели или к славе. Так римлянин спокойно оглядывал скудный удел, доставшийся ему на долю, и бросал вызов судьбе и недругам, говоря: «*Sta, miles, hic optime manebimus*» («Стой, воин, здесь нам суждено остаться»).

Наступил XX век, петербургская культура вступила в пору медовой зрелости. Все, чего она ни коснулась, обратилось в чистое серебро. Объяснить этого нельзя – так же, как не было особых причин и для почти одновременного появления в древнеримской литературе таких гениев, как Вергилий, Овидий, Гораций. Остается почтительно склонить голову и обратиться к текстам. Поэт или писатель «серебряного века» в глубине души знал, что, придя в Петербург, он поставил себя на грань двух миров. Географически, севернее Петербурга оставалось еще немало городов и исторических областей, метафизически – не было ничего. Далее начиналась «крайняя Туле», страна холода, мрака и смерти – либо полного духовного преображения. Сделав свой выбор, петербургский визионер подставлял лицо под струи ледящего ветра, вверялся стихиям и вступал на последний свой путь. Вернуться он мог «со щитом – или на щите». Ученые лишь недавно взялись за вскрытие этого архетипа: мы опираемся в первую очередь на выводы тартуского литературоведа прошлого века М.Н.Раудар. Как это часто бывает, литераторы выговорили все гораздо раньше, ведомые своим «поэтическим безумием» – «*katokhe te kai mania*», говоря любимыми словами Платона.

Мы имеем в виду сонет «Петербург», написанный М.Волошиным в Париже, в 1915 году, по получении известия о переименовании нашего города. Как известно, рифм к этому имени мало, как на то не раз сетовали поэты «серебряного века» (речь идет, конечно, о «настоящих», насыщенных смыслом рифмах). Волошин и взялся утвердить их на узком пространстве двух катренов, «дабы в четырех (и безвыходных) сонетных рифмах закрепить его старое имя». Вот этот отрывок: «Над призрачным и вещим Петербургом / Склоняет ночь край мертвенных хламид. / В челне их два. И старший говорит: / „Люблю сей град, открытый зимним пургам, / На топях вод, закованных в гранит. / Он создан был безумным Демиургом. / Вон конь его и змей между копыт: / Конь змею – „Сгинь!“, а змей в ответ: „*Resurgam!*““». Концовка стихотворения выразительна и эффектна. Мы не будем ее приводить: цитированные восемь строк содержат все, что нужно для нашего разбора. Что касается рифм к Петербургу, то Волошин подбирает (или, как сказали бы англичане, чеканит: имеем в виду термин „*to coin*“) три соответствия. Одно из них – „демиург“ – с очевидностью продолжает пушкинскую традицию „строителя чудотворного“, гения-покровителя Петербурга, а два других вводят мотив „пути на север“. Одно из них („пурги“) говорит о его холоде и мраке, второе („*resurgam*“) – переводится с латыни как „восстану“ и должно пониматься здесь в метафизическом смысле. Если учесть и роль змея, характерную, вообще говоря, для творчества

символистов с их болезненным интересом к „князю тьмы“, то картина получится довольно полной – и притом, как во всякой хорошей поэзии, предельно сгущенной.

Было бы ошибкой считать мотив „пути на север“, нашедший себе наиболее полное литературное воплощение в творчестве петербургских символистов, абсолютно оригинальным. По нашему мнению, вполне корректным было бы сопоставить его с понятием „северного духа“ (или „духа Севера“), которое было выработано в отечественной художественной критике несколько раньше, в последнем десятилетии XIX века, однако додумывалось позже, параллельно с поисками литераторов, нередко в контакте с ними. Исходной точкой послужила кризисная ситуация, сложившаяся в изобразительных искусствах, как результат исчерпания возможностей движения передвижников, а также всего направления „критического реализма“. В поисках новых источников вдохновения, можно было обратиться к художественным языкам, разрабатывавшимся во Франции, бывшей тогда центром художественной жизни – скажем, пойти по пути импрессионизма в живописи. Среди других, менее очевидных путей, было принятие того варианта модерна, который сформировался уже в искусстве балтийских, прежде всего – скандинавских стран, а также Финляндии, где схожий кризис был пережит и изжит несколько раньше. Лучшее известное нам определение этого вкуса было дано литератором и искусствоведом С.К.Маковским на исходе первого десятилетия XX века: „Дух Севера“, дух фантастических грез, смертельного ужаса и проникновенного идеализма вновь коснулся искусства». Проследивая воплощение нового, сурового и искреннего вкуса в живописи, естественным будет обратиться к «северным пейзажам» мирискусников, в архитектуре – к петербургским зданиям, построенным в стиле «северного модерна», в литературе – к сочинениям, пронизанным интуицией «пути на север».

Здесь было бы естественно обратиться к одному из текстов, задающих парадигму «пути на север». Выбор широк, тексты у всех на слуху. Перелистаем страницы «Ночной фиалки» Александра Блока. Нетрудно представить себе, как «отрешенным, прислушивающимся и молитвенным голосом», с сосредоточенной важностью «держа строку» (таким его слышали современники) читал поэт эти строки: «Был я нищий бродяга, / Посетитель ночных ресторанов, / А в избе собрались короли; / Но запомнилось ясно, / Что когда-то я был в их кругу / И устами касался их чаши / Где-то в скалах, на фьордах / Где уж нет ни морей, ни земли, / Только в сумерках снежных / Чуть блестят золотые венцы / Скандинавских владык»... Да, это настоящая поэзия. И как часто бывает, она писалась в тревожное время. Поэма помечена точно: «18 ноября 1905 – 6 мая 1906». Время известное: сюда казаки, военно-полевые суды, приказ «патронов не жалеть» и военное положение, введенное в почти четырех десятках губерний и областей. Огромный корабль России уже вползал на рифы, шторм крепчал, корпус дал многочисленные трещины. Душевные струны Блока натянулись, в них зазвучало предчувствие перемен. В середине октября 1905 года поэт присоединился к революционной демонстрации, и даже, по некоторым сведениям, шел во главе ее, неся красный флаг. В это же время пишутся или обдумываются вольнолюбивые стихотворения. В одном из них, написанном в августе 1906 года, лирический герой предается деве-революции. В другом, помеченном октябрём 1905-го, описывается убийство активиста на митинге. Над остывающим телом пролетает тихий ангел, предвещающий Христа в «венчике из роз» из финала «Двенадцати». Сходство неслучайно: в конечном итоге, это та же линия, навсегда поразившая русского читателя сочетанием формального мастерства и близорукого прогрессизма, многим казавшегося циничным. Впрочем, это – лишь поверхностная пена. Под ней бил чистый источник глубоких интуиций о духе Петербурга и значении его эпохи в истории страны. 18 октября 1905 года был опубликован манифест Николая II о даровании широких гражданских свобод. Блок в тот же день пишет классически ясное стихотворение о «Медном всаднике», безошибочно опознав в манифесте обращение Петербурга к России. Каким был ее ответ, поэту осталось неясным. Отстраняя соблазны готовых решений, которых так много

высказывалось вокруг, он вслушивался в молчание гигантских холодных пространств. В них что-то готовилось и назревало. В статьях и письмах поэта стало появляться почти навязчивое упоминание о гуле, «в котором не разобраться и опытному слуху». Наконец, ухо поэта различило подземную дрожь: это тронулась с места чудовищная волна, пошедшая против Города и его порождений. В сущности, речь шла о конце петербургской эпохи; это ясно можно прочесть за строками цикла 1908 года «На поле Куликовом», с его мрачайшей концовкой.

На еще более глубоком уровне, происходили прогулки поэта по Городу, сопряженные с «одинокими восторженными состояниями». Время с осени 1905 по весну 1906 года отмечено их высшим напряжением. Поэту является Прекрасная дама в облике Незнакомки, а 24 апреля 1906 года он создает один из канонических текстов «серебряного века» («По вечерам над ресторанами...»). Один из вводных к нему текстов, подчиненных тому же метру («Они давно меня томили...») написан в ноябре 1905-го. На другом гребне той же волны создана «Ночная фиалка». Мы так подробно остановились на контексте ее создания, чтобы показать, в какой толще петербургских событий, наитий и снов укоренен намеченный в ней «путь на север». Снов – в первую очередь. Видение Ночной Фиалки представилось Блоку не за столиком вокзального ресторана в Озерках, или у стен Зимнего дворца, как бывало прежде – но, как говаривали мистики, «в тонком сне». «16 ноября мне приснилось нечто, чем я живу до сих пор. Такие изумительные сны бывают раз в год – два года,» – писал поэт в декабре 1905 года. Впрочем, и во сне поэт увидел привычную одинокую прогулку по окрестностям Петербурга и еще один сон, «вложенный» в нее. Нет ничего опрометчивее, чем пересказывать хорошие стихи. Изложение обычно губят цитаты: их подлинный блеск оттеняет фальшивое золото пересказа. Впрочем, кому же из петербуржцев не памятен зачин «Ночной фиалки»? Герой уходит все дальше от пошлого города, «обрывая нить сознания» и забывая себя. Пустынная улица незаметно становится тропинкой на мокром болоте, туман сгущается в пелену древнего, довременного мрака. Сквозь сетку дождя герой различает другие, снежные сумерки, где поблескивают «венцы скандинавских владык». Он ступил на «северный путь», и начинает припоминать самого себя в снежной древности – «обольстителем северных дев и певцом скандинавских сказаний». Дорога приводит в избушку, где герою открываются два видения о бессмертии. Одно из них – «жизнь в смерти», забытье, в котором цепенеют скандинавские короли – прежние повелители поэта. Другое – «жизнь по ту сторону смерти», преображение. Его ветер сотрясает стены избушки, «будто голос из родины новой», «будто вести о новой земле». Эта родина – в будущем, но она коренится в прошлом цветком Ночной Фиалки. Здесь, на краю Петербурга, к северу от Севера, поэт оставил читателя – но только на время.

Впереди была зима 1907 года, с новыми прозрениями о Петербурге, отлитыми в классическую форму «Снежной маски» – подлинной «антологии» снегов, вьюг и метелей – и дальнейшим погружением в эту «метафизику снега и льда»: «Бери свой челн, плыви на дальний полюс / В стенах из льда – и тихо забывай, / Как там любили, гибли и боролись... / И забывай страстей бывалый край. / И к вздрагиваньям медленного хлада / Усталую ты душу приучи, / Чтоб было *здесь* ей ничего не надо, / Когда *оттуда* ринутся лучи». Трудно избавиться от впечатления, что в этом коротком стихотворении 1909 года сгущена целая поэма – а может быть, цикл стихов. Оно напоминает собой идеальный кристаллик льда, или крупинку «золота философов», сверкающую на дне реторты в конце алхимического процесса. Ведь полюс, к которому влечется поэт, следует искать не на географической, а на метафизической карте. В петербургской традиции город намертво связан с Полюсом, а связывает их «путь на север». Вспомним хотя бы Вяч. Иванова: «В этой призрачной Пальмире, / В этом мареве полярном», или еще четче у Ф.И.Тютчева: «О, полюс! – Город твой влечется вновь к тебе!». Кстати, в выполненном в 1903 году переводе этого стихотворения, оригинал которого был написан Тютчевым в 1848 году по-французски, Валерий Брюсов, повидимому,

подсознательно выделил слово «полюс». Во французском его оригинале (1848), обращения и связанной с ним эмфазы не было: «Le rôle attire à lui sa fidèle cité».

Итак, в наибольшей степени Полюс связан с Петербургом, но в некоторой – и со Швецией. Как мы помним, еще до Северной войны Полярная звезда была избрана шведами в качестве эмблемы, что не прошло мимо внимания русских. Конечно, эта ассоциация была для нас довольно слабой. Но и она нашла себе отражение в традиции начала века. Так, в стихотворении 1906 года, посвященном Карлу XII, Брюсов назвал шведского короля «рыцарем Полюса». Намек понятен лишь посвященным в эмблематику Севера; есть и другие примеры. Заметим кстати, что Брюсов был вообще очень внимателен к скандинавской теме. Во всяком случае, Швеция никогда не сливалась у него с Норвегией и другими северными странами в одно снежно-нордическое целое, как это бывало у Блока. Это совсем не случайно: каждый поэт пролагал «путь на север» сообразно с тем, что видел на нем сам. Более того, разные описания этого пути или его отрезков у одного и того же автора обычно отражали сдвиг точки зрения и на сам Петербург. Так, в период работы над «Ночной фиалкой» Блок был увлечен ибсеновским «Пер Гюнтом». Это скандинавское влияние – единственное, которое хорошо прослеживается по черновикам поэмы. Одновременно с ее созданием Блок пишет стихотворение о Сольвейг, где тонко отображается норвежский колорит и даже имя героини. «Сольвейг! О, Сольвейг! О, Солнечный Путь!» – эта строка останется непонятной, если не знать, что с норвежского Сольвейг и переводится буквально как «солнечный путь». Однако в «Ночной фиалке» царит завладевшая сознанием поэта «прекрасная, богатая и утонченная тема мистицизма в повседневности» (цитируем его запись от 1906 года). Поэт позволяет моросящему дождю и сырому туману Петербурга размыть «солнечный путь» до полной неузнаваемости.

Как мы знаем, при переходе к акмеизму, акценты в изображении Петербурга были переставлены. В частности, оформился интерес к старому – допушкинскому, а то и первоначальному Петербургу, «маленькому, чистому и белому», как говаривали, кажется, прерафаэлиты о своем Лондоне (у нас оглядка была, конечно, на мирикусников). Здесь можно было бы ожидать и возобновления некоторых многообещающих северных тем. К примеру, в седьмой главе «Арапа Петра Великого» Пушкин вводит нас в каморку пленного шведа, коротающего век в доме богатого русского барина. На гвоздике висит выцветший синий, «каролинский» мундир, прочно ассоциирующийся у нас со временами Полтавской баталии. Такие мундиры бросаются в глаза на известной батальной мозаике Ломоносова, украсившей парадную лестницу Академии наук на Университетской набережной. На другом гвоздике – лубочная картинка с изображением Карла XII. У Пушкина добродушный старичок знай себе наигрывает на флейте, да учит недорослей маршировать по шведскому артикулу (в позднейшей русской литературе сюда примыкают образы пленных французов после войны 1812 года). Нам осталось неизвестным, как развернул бы свою тему Пушкин: текст «Арапа Петра Великого» остался оборван как раз на реплике пленного шведа. Другой пример – «Петр и Алексей» Д.С.Мережковского. Роман сохранил свое значение и для акмеистов как переходное звено «петербургского текста» от XIX века – к символизму. Здесь тоже была опробована тема пленных шведов, метущих каждую неделю едва намеченную Невскую перспективу, но после некоторого колебания она оставлена: были гораздо более интересные возможности. Трудно сказать, что мог бы с ними сделать акмеизм; как известно, его «петербургский текст» остался незавершенным.

В любом случае, творческому мировоззрению Н.С.Гумилева было присуще весьма явное скандинавофильство. Отметим лишь сборник «Костер», вышедший из печати вскоре после революции 1917 года. В нем наше внимание привлекает стихотворение «Швеция». Поэт называет ее «страной живительной прохлады», «священной» для русских с варяжских времен. Восхищаясь северной державой, лирический герой Гумилева упрекает ее лишь в

том, что она не смогла спасти от гибели свою русскую сестру, как древле, во времена Рюрика. В стихотворении «Стокгольм», также включенном в состав сборника, лирическому герою представляется «северное видение»: «О Боже, – вскричал я в тревоге, – что, если / Страна эта – истинно родина мне? / Не здесь ли любил я и умер не здесь ли, / В зеленой и солнечной этой стране?». Приняв во внимание, что между двумя «шведскими» стихотворениями вставлены стихи, посвященные: одно – норвежским горам, другое – Северному морю, то вывод о том, что мотив «пути на север» перешел в творчестве основателя акмеизма рубеж революции, приобретает черты вероятности. К сходному выводу мы приходим, знакомясь и с творчеством зрелой Анны Ахматовой.

«Никакой философии Петербурга она не знает,» – заметил об Ахматовой Н.П. Анциферов. С точки зрения правоверного символиста, все выглядело именно так. На деле, была здесь глубокая философия – однако же, в плане как семантики, так и синтактики, совершенно особого типа. «Путь на север», с присущим ему сплетением мотивов смерти и преображения, принадлежит Ахматовой, как ее «alter ego». Лирической героине, вступающей на этот путь, видятся тени его первопроходцев: «И его [1] поведано словом, / Как вы были в пространстве новом / Как вне времени были вы, – / И в каких хрусталях полярных [2] / И в каких сияньях янтарных / Там, у устья Леты [3] – Невы [4]». Нумерация в квадратных скобках введена, естественно нами – затем, чтобы проследить, как на ограниченном пространстве хромоющих дольников «Поэмы без героя» перед читателем предстают и тень Александра Блока [1], и холодный полюс [2], и город в устье Невы – одновременно метафизической [3] и реальной [4], как и прочие приметы «пути на Север». Действие большей части поэмы связано с зачарованным пространством «Фонтанного дома». «Автор прожил в этом доме 35 лет и все про него знает. Он думает, что самое главное еще впереди. Посмотрим». Ход времени в поэме все время сдвигается и рвется. Каков полный смысл этой ремарки, сохранившейся в черновике авторских пояснений к поэме – пока неясно. Но чуть выше по тексту Ахматова помечает, что сад «Фонтанного дома» старше Петербурга, и что «при шведах здесь была мыза». Очевидно, для замысла было важным и это обстоятельство.

Шведский текст в облике Петербурга

Обращаясь к цитированному уже нами сказанию «О зачатии и здании царствующего града Санктпетербурга», текст которого верно отразил некоторые из метафизических интуиций, восходящих к основанию нашего города, мы переносимся к утру 14 мая 1703 года. Как сообщает Сказание, осмотрев острова в устье Невы, Петр I принял решение непосредственно перейти к основанию крепости. Взяв у сопровождавшего солдата багинет, он вырезал два дерна и расположил их крестообразно. При этом над местом основания парил орел, шум крыльев которого привлек внимание присутствовавших, увидевших в том хорошее предзнаменование. После этого Петр сошел к теперешнему Кронверкскому проливу, перешел его по стоявшим поперек русла плотам, и вышел на южную стрелку сегодняшней Петроградской стороны. Там он срубил два куста ракиты: на месте одного была поставлена Троицкая церковь, второго – домик Петра I. Наконец, сев в ботик, государь изволил отправиться к Канцам. Мы не случайно так детально остановились на последовательности действий Петра I, так скрупулезно описанных в тексте Сказания. Ведь перед нами – своеобразный гражданский ритуал, разметивший главные точки будущего Города, и своего рода «viam sacram» («священную дорогу»), установившую направление будущих торжественных процессий. Все, что произошло в момент рождения города и взято на заметку проникательными свидетелями, не может не быть принципиально важным. Заметим, что свои «viae sacrae» обнаруживаются во всех значительных центрах – скажем, в Риме, а если брать ближе, то в Старой Ладогге. Поэтому для нас особенно интересно, что некоторые детали намеченной картины окрашены

в шведские цвета. Достаточно обратить внимание на то, что брёвна, так удачно для царя и его свиты ставшие поперек протоки, были «маштовые и брусовые королевские леса», приготовленные к отправке в Стокгольм. Для присмотра за ними, шведы расставили караульных солдат. По-видимому, это они приманили орла, свившего гнездо тут же, на острове, и стали прикармливать его. Иначе рукопись не указывала бы, что «караульными салдаты тех лесов оный орел приучен был к рукам».

Исходная точка шествия Петра и его свиты, новооснованная фортеция Санкт-Питербурх, была, помимо всего прочего, величественным мемориалом победе над шведами. Особенно живо эта связь ощущалась при продвижении в том направлении, где Петр I впервые переправился через Кронверкский пролив. Уже в 1703 году примерно на этом месте был наведен старейший мост нашего города – Иоанновский. На той же оси поставлен и главный вход в крепость – Петровские ворота, украшенные барельефом «Низвержение Симона-волхва апостолом Петром». По общему мнению искусствоведов, барельеф представлял собой аллгорию победы России над Швецией. Наше внимание привлекает то, что противостояние Петра I и Карла XII осмыслено не в гражданских образах какого-нибудь «милосердия Тита» или «триумфа Александра», но в образах религиозного, даже метафизического поединка. Как известно, апостол Петр творил подлинные чудеса, а волшебник Симон – поддельные, за что и был низвергнут долу, когда попытался вознестись в небо. Сам апостол представлен стоящим в толпе, почти из нее не выделяясь. Лишь взглядевшись в его лицо, мы узнаем знакомые черты Петра Великого. Логика этого образа продолжена в облике ангела на Александровской колонне: ему были приданы черты Александра I. Напоминала о шведах и Троицкая церковь, на колокольне которой впоследствии, в 1713 году, был повешен большой шведский колокол, захваченный после штурма финляндского города Або (Турку). Его бархатный благовест, был хорошо слышен во всех концах Петербурга. Троицкая церковь была любимейшим храмом царя, в ней не раз совершались «государственные молебны и благодарения», главным из которых было празднование Полтавской победы. Что же касалось конечного пункта следования Петра – Канецкой крепости, незадолго до того отбитой у шведов, то ее связь с нашей темой не подлежит сомнению.

На следующий день, 15 мая, при расчистке Заячьего острова было обнаружено гнездо орла, что современники сочли благоприятным предзнаменованием. Наконец, 16 числа, в праздник Пятидесятницы, состоялось официальное основание Города: этот день празднуется по сию пору. На память приходит прежде всего пышная сцена основания, запечатленная в общеизвестной гравюре Шарлеманя. На деле, все было, по-видимому, гораздо скромнее. Тем не менее, современник не забывает напомнить, что орел снова парил над Петром, затем перелетел на импровизированные ворота из двух березок, а потом уселся на руке государя: «Царское величество о сем добром предзнаменовании весьма был обрадован». По окончании церемонии, Петр I снова следовал в Канцы. Таким образом, обратившие наше внимание детали повторяются. Пора уж, пора благодарному потомству возобновить ритуал следования по нашей старейшей «священной дороге».

В 1782 году, на Сенатской площади был установлен памятник Петру Великому. Таким образом, в невской столице сложился новый сакральный центр. Новый – поскольку он был противопоставлен как стихийно сложившемуся старому центру вокруг Троицкой площади, так и неудавшемуся, «регулярному» центру на Васильевском острове. Сакральный – потому что в совокупности с Исаакиевским собором он был посвящен подлинному культу основателя Города, составляя по сути то, что римляне называли императорским форумом. Напомним, что Петр родился 30 мая, в день памяти святого Исаакия Далматского. Поэтому по старым представлениям, собор св. Исаакия был много ближе, интимнее связан с личностью Петра, чем собор апостолов Петра и Павла. Сенатская и Исаакиевская площади представляются сейчас как бы единым «коридором», ведущим от Невы вглубь города. Это впечатление

– не более чем иллюзия: памятник и собор глядят в разные стороны. Достаточно обратить внимание на то, что Медный всадник скачет на север. В прошлом это направление подчеркивалось плашкоутным Исаакиевским мостом, наводившимся от Сенатской прямо через Неву. Что же касалось собора, то он ориентирован алтарем на восток, как и положено православному храму. Главным входом, соответственно, всегда был западный. Таким образом, памятник и собор расчерчивают на плане города как бы сетку координат: первый – с юга на север, второй – с запада на восток. На сетке такого рода ставились в старину «правильные» города Древнего Рима. По-видимому, на основании сказанного можно и здесь восстановить еще одну «*viā sacratā*», дорогу торжественных процессий. Важно учитывать, что первое каменное здание собора, предшествовавшее нынешнему, стояло до 1763 года значительно ближе к Неве, практически на месте Медного всадника. Таким образом, точки отсчета обеих осей по сути почти совпали – если не во времени, то хотя бы в пространстве. В той степени, в какой это последнее было метафизическим, Медный всадник до сих пор стоит под куполом своего огромного храма, осеняя его простертой десницей. Обосновавшись на Сенатской площади, Медный всадник стал восприниматься петербуржцами как хранитель города, почти как его божественный покровитель. Ранний этап сложения «петербургского мифа» о гении-покровителе Города считается зафиксированным в предании о том, как власти намеревались демонтировать статую на время нашествия наполеоновской «Великой армии», чему воспротивился сам Медный всадник, явившись во сне Александру I. Все это так, но за время, прошедшее между установлением Медного всадника и нашествием французов, Россия вела и другие войны. По крайней мере одна из них разыгрывалась в непосредственной близости от города: мы говорим о русско-шведской войне 1788–1790 годов. Канонада одного из морских сражений этой войны была хорошо слышна в Петербурге, и произвела на его население свое впечатление. Не сохранилось ли каких-либо преданий, связывавшихся тогда с памятником Петру I? Выясняется, что да, такие предания были. Начало войны было тревожным: ожидали высадки шведов в Кронштадте, а оттуда до города рукой подать. В городе пошел слух, что после десанта шведский король намерен идти прямо на Петербург, чтобы «опрокинуть статую Петра I».

Слух этот был весьма показателен. Ведь в памятнике не было ничего оскорбительного для шведов – разве что, вместо седла, на спину коня была брошена звериная шкура. Существуют свидетельства, что современники могли видеть в ней аллерегию «побежденного льва», то есть Швеции. Но достаточно было обращения к документам, чтобы установить, что фигура Медного всадника была посажена не на лвиную, а на медвежью шкуру. Известно, что сам Фальконе видел в том «аллерегию нации, которую он [Петр] цивилизовал». Змий под копытами коня – аллерегия людской косности и неблагоразумия, и напрямую со шведами его никогда не сравнивали. Правда, в шведских триумфальных процессиях времен Северной войны Карл XII изображался в облике Георгия Победоносца, попиравшего русского змия. В ответ русские сами стали представлять своего государя в виде св. Георгия. Легко догадаться, кого он в таком облике попирал. Этот образ наглядной агитации петровских времен (вкуне со старым московским гербом, представлявшим того же Георгия Победоносца) мог до некоторой степени повлиять на замысел Фальконе. Однако те времена давно прошли и обижаться было не на что. Остается, пожалуй, лишь помещенная на гранитном основании монумента, знаменитая своим сдержанным благородством надпись: «Петру Первому Екатерина Вторая, лета 1782». Надпись весьма лаконична, спору нет. Однако в монументе такой символической насыщенности частностей не бывает. В каком отношении, помимо чисто формального, Екатерина могла рассматривать себя второй по отношению к Петру? Перед Петром I, его дипломатами и полководцами стояло два жгучих вопроса – северный и южный, то есть шведский и турецкий. От утверждения на Балтике и Черном море зависело не только дальнейшее благополучие страны, но и само ее выживание. Швед-

ский вопрос был решен Петром I, на решение же турецкого вопроса времени не хватило. Это выпало на долю орлов екатерининской эпохи – Суворова и Румянцева, решивших – или, как сейчас выясняется, отсрочивших его – очень надолго. Вот в каком отношении дело Екатерины было вторым по отношению к делу Петра. Так смотрят на дело авторитетные историки, так полагали и в конце XVIII века. Известно, что сам Карл XII мрачно бросил однажды, что если он позволит России разбить шведов, то следующей придет очередь Стамбула. При всей символической значимости этой надписи, она не могла быть обидной для шведов, тем более в ту эпоху, не располагавшую к сантиментам. Поставили же шведы посреди своей столицы через полвека с лишним памятник королю Карлу XII, держащему одной рукой шпагу, а другой указывающему в сторону России... В итоге нам остается сделать вывод, что к 1788 году петербуржцы уже смотрели на Медного всадника как на «гения-покровителя» и приписали шведскому королю намерение опрокинуть его – следуя той логике, по которой неприятель всегда стремится отобрать у противника его знамя.

Сама война 1788–1790 годов была для нас весьма успешной. Память о ней хранят по сей день два скромных гранитных обелиска, поставленных один в селе Рыбацком, уже вошедшем в состав Петербурга, другой – в его пригороде Усть-Ижоре. Жители города никогда не уделяли им особенного внимания, так же как статуе В.Я. Чичагова, установленной на постаменте памятника Екатерине II, в сквере перед Александринским театром. Между тем, именно решительные действия российского флота, которым он командовал на Балтике в ту войну, принудили шведов искать мира. Об этих памятниках грех было бы забывать. Ведь у нас почти нет монументов, специально посвященных победам над шведами. Напомним, что основным памятником этого рода нужно считать конную статую Петра I, установленную перед южным фасадом Михайловского замка при императоре Павле. На боковых поверхностях постамента укреплены барельефы, посвященные победам над шведами при Полтаве и Гангуте. Таким образом, в сюжетах кодированы земля и вода, покоренные гением русского царя и оставившие короля шведского. Сам Карл XII представлен тут же, в тот момент, когда его, раненого в ногу, уносили с поля боя. Отметив этот малоизвестный факт, подчеркнем, что это – единственное изображение шведского короля в монументальном тексте нашего города. Политико-географическая символика памятника дополнена астрологической: над картиной Полтавской баталии в небе царит рак, над сценой Гангутского сражения изображен лев. По представлениям звездочетов, именно названные знаки зодиака «отвечали» за земные дела в месяцы соответствующих сражений. Если добавить, что работа над статуей была начата по личному распоряжению Петра I, разрешившего снять со своего лица гипсовую маску специально для достижения портретного сходства, то нам придется признать особую связь с духом Петра, равно как подчеркнуто метафизический характер всего монумента.

Заметим мимоходом, что Гангутской битве, а также одержанной через шесть лет после нее, точно в тот же день, победе при балтийском острове Гренгам, была посвящена также церковь св. Пантелеймона, выстроенная сначала в дереве, а к 1739 году – в камне, неподалеку от Летнего сада, на углу позднее поставленного «Соляного городка». Незадолго до революции, фасад церкви был украшен мемориальными досками, где перечислены воинские части, сражавшиеся при Гангуте 27 июля 1714 года. Ну, а еще позже, в 1946 году, торцовый фасад жилого дома напротив церкви был наскоро переделан в одну огромную памятную панель, посвященную обороне Ханко летом и осенью 1941 года. Как известно, советские войска были блокированы там в самом начале войны, героически отбивались от финляндских войск в продолжение почти полугода, понесли огромные потери и, наконец, по решению Ставки были эвакуированы к своим, под Ленинград. Между тем, Ханко – это финское название того самого полуострова Гангё, оконечность которого образует мыс Гангут. Переделку фасада нужно считать решительно неудачной: такие наивные украшения приличны вокзалу какой-нибудь железнодорожной станции, но никак не центру великого города. При

том само место было выбрано совершенно верно. «Этим подчеркивается преемственность славных традиций разных поколений русских моряков», – справедливо отметили Ю.М.Пирютко и Б.М.Кириков с другими соавторами соответствующего раздела современного путеводителя по Ленинграду.

Возвращаясь к петровским временам, нельзя не упомянуть и о другом, более скромном по размерам памятнике, стоящем по сей день перед северным фасадом дворца-музея царя в Летнем саду. Сложная скульптурная группа изображает двух беззаботных богинь, одна из которых грациозно опрокидывает вниз затухающий факел, а другая венчает ее лавровым венком. Все это – символы мира и победы, но только над кем? Наше затруднение разрешается при виде фырчащего, взъерошенного льва, загнанного прямо под босые ножки богинь, и крайне сконфуженного таким положением: видны только его недовольная морда и когтистая правая лапа. Вне всякого сомнения, здесь он не представляет позицию зодиака, но служит символом унижения шведского королевства – так же, как меч с рукояткой в виде головы льва, положенный под ноги Александру Невскому на известном памятнике у портика Казанского собора. Вся живописная группа Летнего сада была заказана Петром I одному итальянскому скульптору, в ознаменование победы над шведами и заключения Ништадтского мира 1721 года.

Другие появления шведской темы в Летнем саду менее значительны. Так, ее можно обнаружить в сюжете композиции «Персей и Андромеда», украшающей западный фасад Летнего дворца. Казалось бы, мало что может быть дальше от наших северных широт, чем история эфиопской царевны и греческого героя – по сообщению античного мифографа Аполлодора, давших начало роду персидских царей. Последнее небезразлично, поскольку Карл XII мог примерять на себя роль Александра Македонского. Тогда Петру доставалась роль персидского царя Дария, и он, по всей видимости, об этом знал. Во всяком случае, один из современников оставил упоминание том, как Петр, говоря о планах короля Швеции, задумался, а потом тихо молвил: «Брат Карл все мечтает быть Александром, но я не Дарий!»... Как бы то ни было, но историки искусства И.И.Лисаевич и И.Ю.Бетхер-Остренко справедливо заметили, что «сюжет этого мифа часто использовался в начале XVIII века в барельефах, оформляющих триумфальные ворота, в садовой скульптуре. Андромеда как правило символизировала русскую землю, захваченную шведами, Персей – Петра-освободителя». В таком случае, Карлу XII уготована роль отнюдь не чистого нордического героя, но гадкого морского чудовища, пытавшегося пожрать невинную деву-Ингерманландию, и поплатившегося за это.

Еще один пример – поставленная на одной из площадок центральной аллеи сада фигура Навигации. В руке она держит свиток, на которой при некотором усилии можно разглядеть очертания Швеции и других скандинавских стран. Любопытно, что на месте Петербурга изображен солнечный диск: это придает банальной ландкарте вид «астрального чертежа». «Тематика статуи непосредственно связана с созданием Петербурга», – верно заметили те же авторы. Ну, а у южного выхода из Летнего сада в 1839 году была установлена высокая, пятиметровая ваза из розового порфира, доставленная из Швеции. Это был не трофей, но подарок, преподнесенный императору Николаю Павловичу королем Карлом XIV Юханом в знак дружбы и мира. Подробные путеводители добавляют, что ваза была изготовлена из «эльвдальского камня». Надо сказать, что это замечание ничего не говорило для автора этих строк, как, по всей видимости, и для многих читателей – но лишь до недавнего времени. Осматривая достопримечательности шведской провинции Далекарлия, весьма удаленной от центра страны, где старые шведские нравы и ремесла сохранились в неприкосновенности (она расположена на северо-запад от Стокгольма, по направлению к норвежской границе), мне довелось как-то идти по шоссе, проложенному в горной долине. Обочины были усыпаны мелкой розоватой каменной крошкой, крупной и удивительно жесткой на

ощупь. «Это – эльвдальский порфир, которым на весь мир славятся наши места», – с гордостью заметил мой спутник, любитель истории своего края и знаток его богатств. Тут только я понял, какой длинный путь проделала дивная ваза, чтобы занять место в Летнем саду – и с какой гордостью посылали ее шведы в столицу российской империи!

Завершая наш краткий обзор шведского текста в облике Петербурга, стоит припомнить и о величественном здании Адмиралтейства, привольно развернутого «покоем» (то есть в виде литеры «П») к Неве, и занимающего одно из центральных мест в структуре петербургского центра. Как это явствует из его названия, Адмиралтейское здание было посвящено владычеству на море, обеспеченному «Заведением флота в России». Именно такое название носит барельеф, укрепленный над главной аркой, между летящими гениями Славы. Заведен же был флот по случаю Северной войны. В старину тут же, в здании Адмиралтейства, был расположен музей. В нем на почетном месте висела картина на тему «Первая морская виктория» (имелась в виду, разумеется, победа Петра I над шведской эскадрой в устье Невы). Под ней были поставлены модели российских гребных судов, применявшихся в войне со Швецией, а во главе их располагался сам «дедушка русского флота» – ботик Петра Великого. Политическая и технологическая программа совмещена в здании с метафизической: стены здания и колоннада под основанием шпиля усеяны символическими и аллегорическими фигурами, от Александра Македонского – до образов четырех миростроительных элементов – огня, воды, земли и воздуха.

Византийское наследие

Петербург и Стамбул

Любопытно, что знак к началу Северной войны фактически был подан из Константинополя – то есть уже, разумеется, Стамбула. Россия должна была воевать на двух фронтах – турецком и шведском, но сил для того не имела. Поэтому, прежде чем начать военные действия на севере, надо было их завершить на юге. Для этого ранней осенью 1699 года к султану был направлен посол с широкими полномочиями. «Только конечно учини мир: зело нужно», – напутствовал его царь. Корабль посла Емельяна Украинцева бросил якорь в проливе Босфор, в трех милях от Стамбула. Турки с интересом посматривали на новый, пока непривычный в их краях, красно-сине-белый флаг, и на внушительное, сорокашестипушечное вооружение фрегата. Московские дипломаты, опершись о борт, смотрели на панораму, притягивавшую до них взоры многих поколений русских паломников. Все было, как встарь – и семь холмов, на которых стоял город (в старину их сравнивали с караваном, растянувшимся по мысу, следуя веревке божественного погонщика), и залив Золотой Рог, омываемый быстрым круговым течением, и дивный купол Айя-Софии, потерянной для православного мира за два с половиной столетия до того... 8 августа 1700 года долгожданное сообщение о заключении мира с Турцией было получено Петром. На следующий же день, царское войско получило приказ двинуться на Нарву. К третьему году войны, пройдя через последние поражения и первые победы, русские войска подошли к шведской крепости Ниеншанц в устье Невы и взяли ее «на аккорд». Начался отсчет исторического времени Петербурга.

Обращаясь к привлекавшему наше внимание сказанию «О зачатии и здании царствующаго града Санктпетербурга», изданному петербургским историком Ю.Н.Беспярых, мы обнаруживаем на первой же странице упоминание о двух действиях, существенно важных для метафизики новооснованного города. Под 14 мая 1703 года, автор поместил известие о том, что первым делом, вырезав два дерна из земли Заячьего острова и положив их крестообразно, государь «изволил говорить: „В имя Иисус Христово на сем месте будет церковь во имя святых апостолов Петра и Павла“». Через день, выстояв литургию, государь снова прибыл на остров, ископал ров и поместил в него ящик с мощами апостола Андрея Первозванного. В течение всей церемонии, над ними «с великим шумом» парил огромный орел, спустившийся потом вниз, чтобы сесть на руке государя, защищенной перчаткой. В Сказании особо отмечено, что гнездо этого орла было тут же, на острове Люистранд (Заячем). Как видим, опорные конструкции мифа об основании «северной столицы» были размечены уверенной рукой; прочная, но незаметная нить, связывавшая действия царя с Византией, заметна значительно менее.

Прежде всего, имена апостолов Петра и Павла осенили земли при невшем устье, собственно говоря, дважды: в первый раз – 14 мая, в предвидении Троицына дня, иначе именовавшегося у нас Пятидесятницей (в том году, она приходилась на 16-е число), второй раз – в июне того же, 1703 года. «Если 28 июня крепость на Заячьем острове носила весьма неопределенное название „новозастроенной“, то через два дня, после закладки церкви Петра и Павла, она уже именовалась „Санкт-Питербурхом“», – подчеркнул в известной монографии об основании нашего города ленинградский историк В.В.Мавродин. Когда же с 1712 года церковь начали перестраивать в каменный собор, то по мере его завершения название собора стало переходить на саму крепость, и ее стали называть Петропавловской. С основанием церкви медлили не случайно: на 29 июня приходился день памяти апостолов Петра и Павла, носящий в народе и по сию пору простое имя «Петрова дня». Закладка церкви именно

в этот день ставила новооснованную крепость под покровительство первоверховных апостолов, и по праву могла рассматриваться как «день ее крещения». Существенным, разумеется, было и то, что на Петров день приходились именины царя. Поэтому, во вполне определенном смысле, город был назван также и в его честь. С церковной точки зрения такой ход мысли был, строго говоря, несколько предосудительным, но в принципе современниками допускался. Один из любимых сотрудников царя, Михаил Аврамов, в 1712 году написал панегирик Петру I, где о нем говорилось в частности следующее: «Похищенное свое же наследственное Ингрию и прочая премудро возвратил и во Ингрию прекрасное место возлюбив, во свое имя преславную крепость сотворил». Выражение «в свое имя» находит себе параллели и в древнерусской литературе. Так, составитель Киевского летописного свода 1093–1095 годов привел краткую сводку великих городов, названных по именам их легендарных, чаще всего – царственных основателей (Рим – по Ромулу, Антиохия – по Антиоху, Александрия – по Александру, Киев – по Кию) и убежденно закончил свое разыскание: «И по многа места тако прозвани быша гради въ имена цесарь тех и князь тех». Рассказывая о решении императора Константина основать город, известный средневековый книжник Нестор-Искандер также заметил: «В 13 же лето цесарства своего, советом Божиим подвизаем, восхоте град создати въ имя свое». Ассоциация, применимая к основанию Константинополя, была допустима и при закладке Петербурга. Ее поддерживало и греческое название «Петрополис», на первых порах употреблявшееся применительно к новому городу.

Сказание о хождении апостола Андрея было у нас известно и очень ценимо со времен седой древности. С одной стороны, у нас верили, что он прошел с юга на север славным путем «из грек в варяги» и благословил наши места, придав, таким образом, духовную размерность крупнейшему торговому пути. С другой стороны, апостол Андрей был братом апостола Петра – основателя римской церкви, издревле чтимой другими церквями – или, как говорили в стародавние времена, «председательствующей в любви». Чтили ее и в Византии: во времена крещения Руси там был разработан церемониал, согласно которому папа римский, буде он приедет в Царьград, должен бы был величаться «первозванным другом императора», а на парадном обеде имел быть посажен рука об руку с ним. Житие апостола Андрея было составлено достаточно рано, в IV столетии по рождестве Христовом, епископом Евсевием Памфилом, и очень ценилось византийцами. В силу такого положения, обитатели славянских земель могли спорить и с Константинополем, и с самим Римом по древности знакомства с христианским учением. Значение ордена Андрея Первозванного, статут которого был принят в 1720 году, было в России весьма велико. Орденский праздник проводился дважды в году: летом, в день Петра и Павла (то есть на именины царя), и осенью, в день самого апостола Андрея. Местом возведения в кавалеры ордена стала Троицкая церковь, стоявшая в самом центре петровского Петербурга, неподалеку от домика царя – первого гражданского здания невской столицы. На его знаке был изображен российский (исторически принятый в качестве эмблемы от Византии) двуглавый орел, косой «андреевский» крест с изображением распятого апостола, а по концам креста – латинские буквы SAPR, читавшиеся как «Sanctus Andreas Patronus Russiae», что значило «Святой Андрей – Покровитель России».

Что же касается предания об орле, то современные исследователи относятся к нему скептически. Так, краевед Н.А.Синдаловский решительно подчеркнул, что «орлы вообще никогда над Невой не появляются». Не возражая по существу, заметим, что целый ряд птиц, издали схожих с орлом, в дельте Невы все же мог появляться. По мере убывания вероятности, это – коршун, орлан-белохвост, а также и беркут. Еще одно соображение, по которому орла не хотелось бы вычеркивать из петербургской мифологии – метафизическое. Ведь автор заинтересовавшего нас Сказания говорит прямо: «Подобное древле благочестивому царю Константину в сонном видении явил Бог о построении в Востоке града. Великий и равноапостольный царь Константин разсматривал места к зданию града и во время шествия

от Халкидона водою к Византии увидел орла, летящего и несущего верф и прочие орудия каменоделателей, которые орел положил у стены града Византии. Великий царь Константин на том месте построил град и наименовал во имя свое Константиноград». Эта историческая справка следует за рассказом об орле, и завершается словами: «Оной Санктпетербургской крепости план и основание собственного труда его императорского величества Петра Великого». Таким образом, образ орла связал наше предание с кругом легенд, сложившихся об основании Константинополя.

К кругу ассоциаций, необходимых для понимания петербургского предания, входит легенда об основании Рима. Как передает Плутарх в своем жизнеописании Ромула, между этим героем и Ремом возник спор о том, в каком точно месте ставить город. Спор решено было решить гаданием по птицам. Со стороны Ромула появилось двенадцать коршунов, со стороны Рема – лишь шесть, что и решило дело. Плутарх подытоживает свой рассказ, завершающий часть IX биографии Ромула, похвалой милым его сердцу коршунам. Кстати, связь Рима и Константинополя виделась древним авторам не только в том, что город на Босфоре был основан римским императором и наследовал блеску Рима. В старину хорошо помнили, что там же, неподалеку от азиатского берега Босфора, стояла древняя Троя. По разрушении ее греческим войском, остатки троянцев во главе с Энеем бежали на запад, и в конце концов прибыли в Лаций. На этом основании римляне считали Энея своим родоначальником. Таким образом, можно было еще спорить, какой Рим следовало по справедливости считать первым (или «нулевым»), а какой – вторым. Такая линия мысли была известна и на Руси. Тот же Нестор-Искандер, рассказывая о предыстории Константинополя, говорил следующее: «Он же болма прилежаше мыслию на Трояду, идеже и всемирная победа бысть греком на фряги; и сие умышляюще царю в дни и в ночи, слыша въ сне глас: „В Византии подобает Константину граду създатись“». Здесь Нестор имел в виду знаменитый «сон Константина». Что же касалось победы, о которой император неотрывно думал, так то была победа греков над троянцами. Автор назвал их «фрягами», чтобы напомнить о связи троянцев с фригийцами, в древности населявшими эти места, но вместе с тем – и с западноевропейцами-латинянами, которых у нас тоже могли звать «фрягами».

Дата основания Петербурга определялась необходимостью создания в устье Невы военно-морской базы в кратчайшие сроки. Уже следующим летом, защитникам города пришлось отбивать атаку шведских войск, пытавшихся переправиться с Каменного острова на Аптекарский. Были и другие наскоки, но шведы более никогда не пытались ни пройти устье Невы на кораблях, ни взять крепость на Заячьем острове с суши. Сыграло свою роль и то, что любой строитель в наших местах начинает класть фундамент ближе к лету. Вместе с тем, в Петербурге помнили, что на 11 мая приходился день основания Константинополя, который отмечался там в старину с великой торжественностью. Жители собирались на ипподроме, стоявшем напротив императорского дворца в самом центре города. Арена была украшена крестами, увитыми розами, а заезды перемежались пением, танцами и всяческими церемониальными шествиями. Римляне тоже помнили год основания своего города (753), и даже вели от него летосчисление. Дата основания Вечного Города приходилась на «одиннадцатый день перед майскими календами» (то есть перед первым днем мая), и торжественно отмечалась как «День рождения Отечества». Заложить город в мае – значило признать принадлежность совершенно определенной цепочке событий, начавшихся в Константинополе и Риме.

Последовательно проводя в идеологии и символике раннего Петербурга византийскую линию, Петр Великий не забывал, как бесславно окончилась славная история православной империи. В момент высшего в своей жизни триумфа, когда в 1721 году пришло время празднования Ништадтского мира и поднесения государю титула императора, Петр обратился мыслью к судьбе новооснованной империи Российской – и сразу, как встарь, подумал о Византии, ответив сенаторам так: «Надлежит Бога всею крепостию благодарить, однако ж,

надеясь на мир, не надлежит ослабевать в воинском деле, дабы с нами не так случилось, как с монархией Греческою». Для правильной оценки значения этих слов, стоит припомнить, что в идеологии петровского времени было вполне возможно титулование царя как «грекороссийского императора». Так стояло, к примеру, в подписи к известной гравюре, распространенной в том же, 1721 году. Она изображала Петра I на поле боя. Сбоку читаем латинский перевод – «Graecorussiae imperator». Как видим, в сознании Петра и его современников, Российская империя приравнивалась в некотором смысле к Византийской, на долю же Петербурга оставалось тогда сопоставление с Константинополем.

Петру I не удалось, как мы знаем, существенно продвинуться на турецком направлении – иначе стоял бы наш Град св. Петра на берегу Азовского моря, а то и Босфора. Существенного перелома на южном направлении удалось достигнуть лишь в царствование Екатерины II. Лаконичная надпись на постаменте Медного всадника («Петру Первому Екатерина Вторая, лета 1782») говорит в первую очередь об этом: она передает исторический оптимизм россиян, добившихся в течение неполного века после основания Петербурга победы не только на шведском, но и на турецком направлении. С учетом нового положения дел, на берегах Невы начал складываться особый геополитический проект, получивший название «греческого». Историки говорят о планах удаления турок с Балканского полуострова, открытия России свободного доступа к Средиземному морю, и даже, если Бог даст, восстановлению «креста на Босфоре» под скипетром православного царя из династии Романовых. При этом условии, Петербургу удалось бы восстановить древнее достоинство Константинополя и дать новую жизнь Византийской империи: «Отмстить крестовые походы, / Очистить Иордански воды, / Священный гроб освободить, / Афинам возвратить Афину, / Град Константинов Константину / И мир Афету водворить».

Так писал Гавриил Державин – лучший поэт первого века исторического бытия Петербурга, возносясь воображением высоко – но отнюдь ненамного выше, чем расчеты екатерининских полководцев и дипломатов. В предвидении взятия Константинополя в доме Романовых было принято новое имя – Константин. По настоянию Екатерины II оно было дано одному из ее внуков, в память императора Константина Великого. При ребенке с детства была греческая прислуга, его обстоятельно ознакомили с греческой историей. Константину прочили помазание на царство в соборе св. Софии, и венец императора новой Византийской империи. Эти планы были достаточно широко известны и вызывали в русском обществе немалое воодушевление. В известном объяснении к цитированной выше оде, составленном в старости, Державин привлек внимание читателя к занявшим нас строкам, указав, что он имел в виду намерение «Константинополь подвергнуть державе великого князя Константина Павловича, к чему покойная государыня все мысли свои устремляла». Европейское общественное мнение было настроено против такого усиления России – но против самой логики «греческого проекта» по сути ничего не имело возразить. Еще маркиз де Кюстин полагал Петербург естественными северными воротами Российской империи, Нижний Новгород – восточными, Константинополь – южными. А ведь он был очень нерасположенным к России наблюдателем, и писал в конце 1830-х годов, когда начали складываться и уже стали заметны внимательному взгляду назревавшие предпосылки Крымской войны.

По мере того, как в Петербурге осознавали невозможность реализации всех задач екатерининского «греческого проекта», он начал преобразовываться в «восточный вопрос», ставший одной из доминант российской, более того – европейской политики XIX столетия. Сущность «восточного вопроса» определялась тяжелым состоянием Османской империи, ставшей «больным человеком» тогдашнего мира. Как стало ясно при дворах ведущих мировых держав, пришло время делить наследство распадающейся империи и расставлять доминанты нового политического порядка на Балканах, берегах Черного моря и Ближнем Востоке. Англия, Франция и Австрия стремились к приобретению новых колоний и рынков

сбыта, и в первую очередь – приобретению контроля над проливами, которые охранял Стамбул. При царском дворе мечтали о новых приобретениях вокруг Черного моря – и, разумеется, обеспечении судоходства на Босфоре.

Надо заметить, что действия дипломатии Александра I в «восточном вопросе» были отмечены признаками нерешительности. Дело в том, что среди православных подданных султана, в первую очередь греков, начались волнения, постепенно перераставшие в народно-освободительное восстание. С одной стороны, сам Бог велел поддерживать единоверцев, к чему государя всемерно подталкивал один из шефов его внешней политики, грек Иоанн Каподистрия (позднее он стал президентом независимой Греции). В 1821 году, в конфликт прямо вмешался с отрядом греческих и русских волонтеров генерал-майор русской службы, князь А.К.Ипсиланти. За его судьбой с симпатией следили глаза всего образованного общества не только России, но и Европы. Пушкин мечтал ехать в Грецию, чтобы сражаться за свободу греков, по примеру Байрона. С другой стороны, в рамках Священного союза Александр I обязан был всемерно защищать права государей. Между тем, как отвратителен ни был султан, но он был монархом – притом монархом законным, а греки при всей симпатии к ним были инсургентами. Получалось, что в соответствии с «принципом легитизма» нужно было поддерживать совсем не их, но напротив, как раз Блистательную Порту. Дипломатии Александра I так и не суждено было распутать эту головоломку. Как следствие, достоинство Петербурга как фактической столицы православного мира вошло в явное противоречие с его ролью центра Священного союза. При всех колебаниях и оговорках, последнее оказалось для царя более важным – а это уже говорило об отходе от «византийского наследия».

В царствование Николая I, «восточный вопрос» подвергнут был известному переосмыслению. Задача защиты единоверцев, естественно, не была отброшена, но была отнесена на второй план задачей защите родственных по русским по крови болгар, сербов, и прочих южных славян: «принцип народности» стал как бы сливаться с «принципом православия», и даже брать верх. В 1833 году ситуация сложилась на редкость благоприятно. Султан не смог сам справиться с восстанием в Египте, и не нашел ничего лучшего чем обратиться за помощью к России. Николай I вошел в его положение, и по возможности помог... При этом его армия заняла берега Босфора и Дарданелл, а дипломаты добились подписания договора, который обязал турок закрывать проливы для прохода в Черное море иностранных военных судов, кроме российских. В Европе на эти успехи стали смотреть со все возрастающим беспокойством, равно как на становление панславизма. Сам этот термин первоначально и появился на Западе, как калька с «пангерманизма». После долгих дипломатических маневров, проливы удалось вывести из-под российского влияния. Но самого «восточного вопроса» это не сняло: в Петербурге были раздражены.

Как смотрели на дело в Лондоне и Париже, можно представить себе по известной тираде ведущего нашего западника того времени А.И.Герцена. Он едко выразился в одном месте известной своей книги «Былое и думы» по поводу государства с веревкой рабства на вые, грубо толкающемся в двери Европы с притязаниями на Византию, причем одна его нога поставлена на берегу Тихого океана, а другая попирает Польшу... Взаимное неудовольствие и привело к Крымской войне, в которой русская армия имела дело сперва со слабенькой Турцией, а после – с вооруженными до зубов и очень энергичными англичанами, французами и сардинцами. Поражение в Крымской войне удалило Россию на время даже от мыслей о «восточном вопросе», не говоря уже о вооруженных экспедициях. В то же время, оно существенно ускорило военную и промышленную перестройку страны, равно как общую демократизацию ее внутренней жизни. Снова, как и при предыдущем царствовании, отход от задач, первоочередное решение которых составляло стержень «византийского наследия», пошло на руку Петербургу.

При Александре II, накопившая силы Россия смело вошла в «восточный кризис» 1875–1877 годов и последовавшую войну с Турцией. Ее ближайшей целью было, как и прежде, изменение порядка навигации по Черному морю и статуса проливов. К более далеким целям относилось освобождение балканских славян и решительный передел владений «турецкого наследства». В кругах панславистов говорили даже об образовании славянской федерации под скипетром российского императора и со столицей в Царьграде. «Серб, болгарин, боснийский райа, славянский крестьянин из Македонии и Фракии питают большую национальную симпатию к русским», – прозорливо писали К.Маркс и Ф.Энгельс, – «что бы ни случилось, они ожидают из Петербурга своего мессию, который освободит их от всех зол». Таким образом, речь шла о блистательном завершении «петербургского периода» и его переходе в новую, «константинопольскую эпоху».

Кампания шла тяжело, но окончилась вполне удачно. Турецкие войска были разбиты, российская армия дошла до Стамбула. Александр II некоторое время колебался, не отдать ли приказ о взятии города, но оглянулся на заграничное общественное мнение, а прежде всего на английскую эскадру, спешно вошедшую в Босфор – и решил не искушать судьбу. В Европе очень опасались усиления России, и поспешили принять свои меры. В Берлине был поспешно собран европейский конгресс держав (1878), где были выработаны окончательные условия мира и раздела Балкан. Они были приемлемы для России, в особенности на фоне памятных всем событий Крымской войны – но с мечтами о «царьградском величии» пришлось расстаться. Известная ненадежность «Союза трех императоров», с особенной четкостью обнаружившаяся в ходе переговоров о переделе «турецкого наследства», указало на нараставшую изоляцию России. В Петербурге начали приходить к выводу, что отношения традиционного сотрудничества с Пруссией нуждаются в дополнении – по всей видимости, в виде установления особых отношений с Францией.

В конце XIX века соотношение интересов и сил на Босфоре снова изменилось. Теперь там столкнулись интересы России и Англии, причем первая выступала на стороне Турции, особенно ратуя за сохранение ее контроля над ходом босфорского судоходства, последняя же стремилась к их переходу под смешанную или международную юрисдикцию. В ходе балканских войн, послуживших в этой части европейского континента прологом к первой мировой войне, окрепшие болгарские вооруженные силы с таким неожиданным успехом воевали против турок, что были на волосок от того, чтобы занять Царьград своими собственными силами. Российская дипломатия и тут занималась маневрированием – настолько успешным, что, когда разразилась мировая война, мы получили на юге турецкий фронт, а впридачу к нему наших славянских братьев-болгар, с удовольствием следующих в фарватере германской политики.

Ход войны на турецком фронте, образовавшемся на кавказском театре военных действий, а также сложившемся через пару лет дополнительном, румынском фронте, был, как и в прежние века, вполне удовлетворительным. Уже при блаженной памяти «екатерининских орлах», русские начали бить турок из какого угодно положения и практически в любых количествах. Традиционным для русской империи были и лозунги возвращения Царьграда и занятия проливов. Для царя и его окружения эти задачи были настолько очевидны, что положительно не нуждались в развернутой аргументации; не собиралось от них отказываться и Временное правительство. Всем здравомыслящим людям на берегах Невы было ясно, что военные и хозяйственные интересы России – наконец, положение ведущей державы православного мира – требуют ее утверждения на Босфоре и Дарданеллах. В таком духе и проходило одно из собраний петроградской общественности весной 1917 года в помещении Интимного театра на Офицерской. Неожиданно из публики поднялся невысокий лысый человек и, взвинчивая себя и зал, картавя и осекаясь, закричал: «А за что, собственно, должны мы воевать? За Дарданеллы или за бешеные прибыли русской и иностранной бур-

жуазии, наживающейся на крови наших солдат?». Публика озадаченно зарокотала, а В.И. Ленин – это был он – быстро прошел на трибуну и поспешил развить свои аргументы. По воспоминанию очевидца, ему удалось затронуть слушателей за живое и переломить настроение зала: революционные солдаты устроили лидеру большевиков настоящую овацию.

Большевики уловили, что борьба за «крест на Босфоре» более не воспринималась широкими народными массами, как задача национального значения – или, как стали сейчас говорить, «приоритетный национальный проект». Это наблюдение не раз потом использовалось в их агитации. Вскоре после захвата власти, 3 декабря 1917 года, они обнародовали знаменитое «Обращение ко всем трудящимся мусульманам России и Востока». Его подписали товарищи Ленин и Сталин: последний уже снискал себе известность как знатный специалист по национальному вопросу. В обращении есть немало занятных положений, из числа которых мы выберем для цитирования хотя бы следующее: «Мы заявляем, что тайные договоры свергнутого царя о захвате Константинополя ... ныне порваны и уничтожены. Республика Российская и ее правительство, Совет Народных Комиссаров, против захвата чужих земель: Константинополь должен остаться в руках мусульман». Последние шесть слов были набраны тем же шрифтом, что остальной текст, а стоило бы набрать их заглавными буквами, да еще заключить в рамку. Они решительно перечеркнули одну из аксиом российской дипломатии последних столетий.

«Новый курс» отнюдь не остался на бумаге. Когда через несколько лет вспыхнула греко-турецкая война, большевики без колебаний поддержали отнюдь не прежних своих единоверцев-греков, но, говоря старинным языком, басурман-турок. Разумеется, тут сыграла свою роль симпатия к реформам, предпринятым в Турции правительством известного прогрессиста Кемаля Ататюрка. У нас свергли царя – и турки свергли султана, у нас отделили церковь от государства – и у них отменили халифат, запретили чадру и феску, перешли с арабского алфавита на латинский, и даже музеефицировали Айя-Софию. Напомним, что даже свою столицу турки перенесли из блистательного Стамбула вглубь страны, в скромную Анкару – только бы подчеркнуть решительность своего разрыва с прошлым. Но ведь и у нас правительство большевиков при первой возможности перебралось из Петрограда подальше от границ страны, в Москву. Другое дело, что по духу своих реформ Ататюрк стоял гораздо ближе к Петру I, чем к Ленину. По времени же конец «петербургского периода» в России почти совпал с закатом «стамбульского периода» у турок, что лишний раз подчеркнуло их глубокую связь. Проведя последнюю параллель, оговоримся, что при другом подходе, развивавшемся в последние годы видным петербургским востоковедом Ю.А.Петросяном, кемализм нужно поставить в соответствие скорее ельцинским реформам; тогда брежневскому времени будет примерно соответствовать диктатура младотурок, а сталинизму – эпоха деспотии-«зулюма» султана Абдул-Хамида II.

Как бы то ни было, но в Стамбуле и Анкаре тоже почувствовали прилив симпатии к «кремлевским мечтателям»: в 1925 году турки с готовностью подписали с большевистским правительством договор о нейтралитете, много способствовав тем прорыву того, что у нас называлось «единым антисоветским фронтом». Как следствие, власти Советского Союза никаких масштабных задач на южных берегах Черного моря себе не ставили, и смотрели с завидным спокойствием на все, что имело происходить в обновленной, кемалистской Турции. Просматривая текст одобренного в 1938 ЦК партии, и в том же году выпущенного в свет «Краткого курса истории ВКП(б)», мы видим достаточно напряженную картину международной обстановки, с выделением «очагов войны» и признаков уже начавшейся «второй империалистической войны» – однакоже никаких инвектив против затаившихся турецких недобитков мы там не замечаем (хотя установившийся в Турции режим у нас не принято было называть иначе как «помещичье-буржуазной диктатурой»).

В ходе второй мировой войны, турки допускали значительные отступления от провозглашенного ими нейтралитета – прежде всего, как водится, по части пропуска через проливы военных транспортов враждебных России держав – в данном случае, прежде всего немецко-фашистской Германии. Во время успешного для гитлеровских войск продвижения к Москве и Сталинграду, турки вступили с германцами в переговоры по поводу своего вступления в войну против СССР, но успели одуматься, и даже под самый конец войны объявили немцам войну. Такое разумное поведение помогла Анкаре не подпасть после войны под сколько-нибудь значительные санкции – тем более, что правящие круги страны отнюдь не противились включению в орбиту влияния атлантических сил – или, как у нас говорили, «заключили ряд кабальных соглашений с империалистами США, превращающими Турцию в военно-стратегический плацдарм». Советское государство между тем продолжало наращивать мощь, сформировав собственный «мировой лагерь» и выйдя на роль одного из двух ведущих игроков мировой политики.

Территория «лагеря социализма» была необозрима, равно как и мощь советских кораблей, бороздивших моря и океаны с грузом ракет, способных в считанные минуты достигнуть любой точки на карте мира. Размышляя над его перспективами в написанном в середине семидесятых годов XX века «Письме вождям Советского Союза», А.И.Солженицын стал подыскивать положению страны какой-то аналог – и обратился, как мы понимаем, к истории российской империи. Первый раздел Письма назван «Запад на коленях» – и первое же его предложение заканчивается утверждением, что ни один, самый дерзновенный петербургский империалист не смог бы предугадать, как во второй половине XX века «вечная греза о проливах, не осуществляясь, станет однако и не нужна – так далеко шагнет Россия в Средиземное море и в океаны; что только боязнь экономических убытков и лишних административных хлопот будут аргументами против российского распространения на Запад». Весьма сходный образ встречаем мы и на страницах написанного примерно в ту же эпоху очерка И.А.Бродского «Путешествие в Стамбул». Построение его «однообразно и безумно», оно сводится к перебиранию тем Константинополя, Стамбула и Ленинграда, сплетающихся и расходящихся, наподобие трех змей знаменитой «Змеиной колонны», украшающей по сей день руины ипподрома древней византийской столицы. Набросав и отвергнув несколько вариантов историософских сопоставлений этих городов, ленинградский поэт и писатель отправляет лирического героя эссе на прогулку по набережной. Устроившись в чайной, тот предается привычному для стамбульцев занятию – наблюдению за судами, проходящими по Босфору. Почти сразу его взору предстает зрелище того, как неторопливо и грозно проходят проливом из Черного в моря в Средиземное советские военные корабли – или, как формулирует автор, «как авианосцы Третьего Рима медленно плывут сквозь ворота Второго, направляясь в Первый». На этой картине, отмеченной отчетливо метафизической интуицией, очерк благополучно заканчивается. Читателю остается прочесть пометку «Стамбул-Афины, июнь 1985» и оценить иронию, дополненную ходом истории: не прошло и десяти лет, как эпигоны «Третьего Рима» стали жадно делить его наследство, бросив свои устрашающие авианосцы ржаветь у причалов Севастополя. Слов нет, Советский Союз перерос рамки старого «восточного вопроса», отнюдь не найдя убедительных способов его разрешения. С распадом союза, сложилась иная геополитическая конфигурация сил – по внешности новая, на деле же возвратившая политиков и военных в этой части света к положению трехвековой давности.

Православная столица

В 1701 году почил в Бозе патриарх Адриан, что было весьма своевременным, с точки зрения царя и его ближайшего окружения, в предвидении замышляемой ими церковной реформы. Преемника патриарху не было разрешено избрать. В качестве местоблюстителя

патриаршего престола долгое время подвизался весьма образованный, но склонный к латинству Стефан Яворский. Известные виды на этот высокий пост имел и услужливый Феодосий, архимандрит Александро-Невского монастыря. Однако в конце концов, в 1720 году, решено было пост патриарха упразднить, а власть его передать Духовной коллегии, вскоре преобразованной в Святейший Синод. Смысл комбинации состоял в том, чтобы низвести церковь до уровня департамента культа, и оставить в этом положении под бдительным оком назначавшегося сверху обер-прокурора. В таком положении церковь и оставалась до Поместного собора 1917 года, восстановившего патриаршество. Соответственно, с церковной точки зрения наиболее существенной характеристикой «петербургского периода» являлось отсутствие патриарха, почему и сама эта эпоха получила в нашей литературе название «синодальной». Само это определение настолько привычно, насколько и неточно. Дело в том, что принцип коллегиального управления канонически безупречен, а исторически восходит ко временам апостольским. Надо думать, поэтому восточные патриархи и не высказали особых возражений против организации Синода. Не следует забывать, что сразу же после издания соответствующего указа, Петр I не замедлил обратиться в Стамбул, к патриарху Иеремии III – и получил от него в 1722 году вполне благожелательный ответ. Еще через десять лет, патриархи Константинопольский и Антиохийский подтвердили свое благословение особой грамотой, назвав Святейший Синод своим «во Христе братом». Другое дело – что члены Синода назначались императором, давали ему специально составленную присягу на верность, а также, признавая его своим верховным главой и «крайним судиею», подлежали контролю светских чиновников – одним словом, руководствовались буквой и духом «Духовного регламента». Этот устав, составленный в основных чертах Феофаном Прокоповичем и одобренный самим Петром I, уже действительно разошелся с греко-византийскими канонами и установлениями, закрепив то, что историки церкви без большого преувеличения назвали «программой русской реформации» (здесь мы цитировали формулировку о. Георгия Флоровского). Поэтому с религиозной точки зрения «петербургский период» корректнее всего было бы определять как «эпоху Духовного регламента».

Нужно заметить, что церковная реформа Петра Великого была подготовлена принципиальными изменениями в организации сакральных пространства и времени. В том, что касается времени, достаточным будет сослаться на календарную реформу, предпринятую у нас в канун нового, 1700 года от рождества Христова. До того Русь жила по старому, византийскому летосчислению, и уже встретила Новый год первого сентября 7208 года от сотворения мира. Согласно объяснению властей, переход на новый календарь был мотивирован исключительно необходимостью подстроиться к Западной Европе. Однако с точки зрения человека, воспитанного в старых понятиях, в реформе можно было подозревать гордыню, стремление стать на одной ноге с Творцом времени. К тому же, на 1699 год у нас давно уже ожидали светопреставления, дата которого исчислялась как сумма 33 лет земного служения Христа, плюс всех лет последовавшего тысячелетия, а к ним впридачу – еще и недоброго числа 666. При такой обстановке осторожный правитель помедлил бы, или на худой конец допустил бы на время хождение обоих календарей. Петр же, ничтоже сумняшеся, обнародовал указ и распорядился немедленно провести соответствующую церемонию в Успенском соборе Москвы. Митрополит Стефан сказал бодрую проповедь, в которой разъяснил полезность перемены летосчисления, войско дало салют, а с наступлением темноты сожжен был фейерверк и проведен бал. «Народ, однако, роптал», – проницательно заметил А.С.Пушкин под 1700 годом в подготовительных текстах к Истории Петра Великого, – «Удивлялись, как мог государь переменить солнечное течение, и веруя, что Бог сотворил землю в сентябре месяце, остались при первом своем летосчислении». В том, что касалось сакрального пространства, уместно будет напомнить, что на месте Московского царства, так же буднично и быстро, как и прочие нововведения, явилось на свет государство Российское. Между тем,

речь шла не столько о переименовании государства, сколько о переосмыслении идеи «святой Руси» – преемницы Византии и опоры тогдашнего православия. Нежелание принять новую реалию – или, скорей, неумение сразу забыть о заветном и памятном с детства, рассматривалось императором едва ли не как измена. «Во всех курантах печатают государство наше Московским, а не Российским, и того ради извольте у себя престеречь, чтобы печатали Российским, о чем и к прочим дворам писано», – с заметным раздражением писал Петр одному из своих дипломатов.

Точка скрещения всех преобразований мыслилась как явление горнего Иерусалима на земле и подлинный рай: конечно, мы говорим о Петербурге. Тут стоит внимательнее прислушаться к тому, что говорилось на церемонии по поводу заключения Ништадтского мира, проведенной в 1721 году в Троицкой церкви в Санкт-Петербурге, о значении которой нам уже доводилось коротко говорить выше. Кульминационный момент наступил после литургии, когда архиепископ Феофан Прокопович, сказав проповедь на первый псалом, объявил, что Петр I достоин титулов «Отца Отечества» и «Императора». С последним дело ясно: тут речь шла о военно-политическом статусе. Что же касается первого, то на теперешний слух, привыкший к здравницам и похвальбе на государственном уровне, оно кажется пустым звуком. Однако в те годы, особенно для духовного лица, его звучание было совсем другим. «Отцом Отечества» именовали себя восточные архипастыри, прежде всего патриарх константинопольский. Так мог назвать себя обладавший особым авторитетом архиерей и на Руси – в первую голову патриарх московский. Но включить такое величание в титул светского государя... Тут было от чего смутиться. «Указанное наименование могло восприниматься в том смысле, что Петр возглавил церковь и объявил себя патриархом», – решительно утверждал Б.А. Успенский, и у него были основания для этого вывода. Между тем, вслед за архиепископом псковским, к Петру приступил Сенат, единогласно поддерживая его предложение. В речи предстоящего Сенату канцлера Г.И. Головкина, прозвучала совсем уже странная тема. Он нашел уместным нижайше благодарить своего монарха за то, что тот изволил известить русский народ из тьмы неведения на театр славы всего света, и произвел его «из небытия в бытие». Тут фигура царя выросла прямо-таки до масштабов демиурга!

Оговоримся, что известную коррективу в цитированные выше слова Б.А. Успенского вносит знакомство с подлинным обращением Сената. Там новые титулы объяснены краткой, но не допускающей сомнения ссылкой на нравы и обычаи римской империи. Вот ее точная формулировка: Сенат просил «принять от нас, яко от верных своих подданных, во благодарение титул Отца Отечества, Императора Всероссийского, Петра Великого, как обыкновенно от Римского Сената за знатные дела императоров их такие титулы публично им в дар приношены и на статуях для памяти в вечные годы подписываны». Итак, пафос нового именования – не столько в полемике с византийской традицией, сколько в обращении к наследию Древнего Рима. Однако ошибкой было бы забывать, что римские императоры имели обыкновение совмещать военную и политическую власть с достоинством великого понтифика – высшего авторитета в религиозных делах. Следовательно, и по этой линии мы видим уклон к тому типу отношений между государством и церковью, который в науке получил название «цезарепапизма». Заметим, что несколько отстраняясь от церковного наследия Византии, идеологи Петра I отнюдь не отказывались от преемственности имперской. В подтверждение сошлемся еще раз на текст сказания «О зачатии и здании царствующаго града Санктпетербурга». Упомянув о церемонии 1721 года, автор известия обратил особое внимание на новые титулы, принятые Петром I: «От лика святительского и генералитета и всех чинов поздравлен великим императором отцем отечества и от всех коронованных государей чрез послов и грамоты императором поздравлен, и его императорским величеством начало восприяла четвертая монархия северная, то есть Российская империя». Слова о «четвертой монархии» сразу же разъясняются в тексте. Указано, что она замкнула список «всемирных

монархий», составленный империями Восточной, Греческой и Римской. Под первой следовало понимать Персидское государство, под второй – державу Александра Македонского, под третьей – собственно Римскую империю, но не только ее. Обращаясь к списку монархий, автор известия сослался по имени на князя Дмитрия Кантемира, применившего такую же логику к России еще в 1714 году.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.